ФАНТАСТИКА
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
КЕН ЛЮ, ПАОЛО БАЧИГАЛУПИ, КОРИ ДОКТОРОУ,
ДЖОН СКАЛЬЦИ, ЧАРЛЬЗ СТРОСС,
ПИТЕР УОТТС, КЭТРИН М. ВАЛЕНТЕ И ДРУГИЕ
ЛУЧШАЯ ФАНТАСТИКА
XXI ВЕКА
РЕДАКТОРЫ ДЭВИД ДЖ. ХАРТВЕЛЛ И ПАТРИК НИЛЬСОН ХЕЙДЕН

Кори Доктороу

Лучшая фантастика XXI века (сборник)

«АСТ»
2013

УДК 821.111-312.9
ББК 84(0)-44

Доктороу К.

Лучшая фантастика XXI века (сборник) / К. Доктороу — «АСТ», 2013

ISBN 978-5-17-094970-0

Миры, где животные и роботы наделены разумом. Миры, где мифические существа правят людьми. Миры, в которых виртуальная реальность полностью заменила обыденную. Миры юные и умирающие, пустынные и страдающие от перенаселения, вполне привычные нашему воображению и причудливые, как полотна сюрреалистов. И герои этих миров – воины, инженеры, врачи, сумасшедшие и гении… 34 рассказа, собранные в антологии «Лучшая фантастика XXI века», удовлетворяют любые читательские ожидания – здесь есть фэнтези, НФ, боевики, альтернативная история и виртуальные приключения. А в центре каждого рассказа – живой человек с его тревогами и заботами, радостями и муками.

УДК 821.111-312.9
ББК 84(0)-44

ISBN 978-5-17-094970-0

© Доктороу К., 2013
© АСТ, 2013

Содержание

Вандана Сингх 6
Бесконечности 7
Чарльз Стросс 25
Бродячая ферма 26
Паоло Бачигалупи 37
Игрок 38
Нил Эшер 56
Струд 57
Рэйчел Свирски 66
Эрос, Филия, Агапе 67
Джон Скальци 87
История «Злого» 88
Мэри Рикерт 103
Хлеб и бомбы 104
Тони Баллантайн 113
Воды Меривы 114
Конец ознакомительного фрагмента. 116

Лучшая фантастика XXI века

© David G. Hartwell and Patrick Nielsen Hayden, 2013
© Перевод. К. С. Егорова, 2016
© Перевод. О. Э. Колесников, 2016
© AST Publishers, 2017

* * *

Вандана Сингх

Вандана Сингх родилась и выросла в Нью-Дели, а сейчас живет рядом с Бостоном и преподает физику в небольшом колледже штата. Ее научно-фантастические рассказы начали появляться в печати в 2002 году. О себе она говорит: «Быть признанным инопланетянином, который сочиняет научную фантастику, – интересный опыт; расстояние до родных берегов, несомненно, влияет на то, что и как я пишу».

«Бесконечности» впервые вышли в сборнике «Женщина, которая считала себя планетой», опубликованном в Индии в 2008 году. Действие многих рассказов Ванданы разворачивается в Индии, а также в будущем, на которое оказали влияние традиционные персонажи индийской литературы. Вандана говорит: «Физика – это способ смотреть на мир, один из моих самых важных объективов. Наука замечательна тем, что открывает нам подтекст физического мира. Иными словами, поверхностная реальность – это еще не все; мир полон скрытых историй, взаимосвязей, систем, и научный, а также литературный и психологический аспекты этой мультиструктурированной реальности завораживают меня». В этом рассказе о человеке, который любит математику, Сингх удалось передать нечто весьма редкое, как в нашем жанре, так и за его пределами: подлинное ощущение того, на что похоже изнутри математическое озарение, которое разбивает парадигмы. Сингх делает это, ни на секунду не забывая, что по ту сторону открытия мир остается прежним.[1]

[1] © Vandana Singh, 2013; © пер. К. Егоровой, 2016.

Бесконечности

Для меня уравнение имеет смысл, только если выражает Божественную мысль.
Сриниваса Рамануджан, индийский математик (1887–1920)

Его зовут Абдул Карим. Он маленький худой человек, его манеры и внешность настолько выверены, что кажутся неестественными. Он ходит с очень прямой спиной; в его волосах и короткой за остренной бородке проглядывает седина. Когда он выбирается из дома, чтобы купить овощей, люди уважительно здороваются с ним. «Селям, господин учитель», – говорят они, или: «Намасте, господин учитель», – согласно своей религии. Они знают, что он преподает математику в муниципальной школе. Он живет здесь так долго, что повсюду встречает бывших учеников: водителя моторикши Рамдаса, который отказывается брать у него деньги; человека, который продает паан в будке на углу и никогда не напоминает учителю, что пора заплатить по счету (продавца зовут Имран, и он посещает мечеть намного чаще, чем Абдул Карим).

Все они знают Абдула Карима, доброго учителя математики, но у него есть секреты. Они знают, что он живет в старом желтом доме, со стен которого осыпается штукатурка, обнажая кирпич. На окнах висят выцветшие занавески, которые трепещут на ветру, открывая случайному прохожему благородную нищету: протертое покрывало на диване, деревянную мебель, изможденную, иссохшую и смирившуюся, как и все остальное, постепенно превращающуюся в пыль. Дом построен в старом стиле, внутренний двор вымощен кирпичом, за исключением круглой лакуны, где растет огромное дерево личи. Двор окружен высокой стеной, единственная дверь в ней ведет на пустырь, когда-то бывший огородом. Но заботившиеся о нем руки – руки матери Абдула Карима – теперь с трудом удерживают дрожащими кончиками пальцев горстку риса, чтобы поднести ко рту. Мать дремлет во дворе на солнце, пока сын возится в доме, вытирает и чистит, привередливо, словно женщина. У учителя – два сына, один – в далекой Америке, женат на *гори биби*, белой женщине, – кто бы мог подумать! Он не приезжает домой и пишет лишь несколько раз в год. Его жена шлет веселые письма на английском, которые учитель внимательно читает, водя пальцем по словам. Она рассказывает о его внуках, о бейсболе (похоже, это разновидность крикета), о планах приехать в гости, которые никогда не воплощаются в реальность. Ее письма кажутся ему столь же невероятными, как мысли о марсианах, но он чувствует в иностранных словах доброту, желание соприкоснуться. Его мать отказалась иметь что-либо общее с этой жен щиной.

У второго сына – бизнес в Мумбае. Он редко приезжает домой, но когда приезжает, привозит дорогие вещи – телевизор, кондиционер. Телевизор благоговейно накрыт вышитой белой накидкой, с него каждый день стирают пыль, но учитель не может заставить себя включить его. В мире слишком много проблем. От кондиционера у Абдула Карима случаются приступы астмы, поэтому он никогда им не пользуется, даже в удушающую летнюю жару. Сын для него – загадка; мать трясется над мальчиком, но учитель боится, что этот молодой человек превратился в незнакомца, что он занимается какими-то темными делами. У сына всегда при себе мобильный телефон, он постоянно звонит безымянным друзьям в Мумбай, весело хохочет, понижает голос до шепота, расхаживая по трогательно чистой гостиной. Хотя Абдул Карим никогда не признается в этом никому, кроме Аллаха, ему кажется, что сын ждет его смерти. Он всегда испытывает облегчение, когда сын уезжает.

Однако это домашние тревоги. Какой отец не тревожится о своих детях? Никого не удивит, что тихий, добрый учитель математики тоже беспокоится. Но люди не знают о его секрете, его одержимости, его страсти, которая делает Абдула Карима непохожим на дру-

гих. Возможно, именно поэтому он всегда словно смотрит куда-то вдаль, всегда выглядит немного потерянным в жестоком земном мире.

Он хочет увидеть бесконечность.

Нет ничего удивительного в том, что учитель математики одержим числами. Но для Абдула Карима числа – камни в реке, ступени лестницы, которые уведут его (если будет на то воля Аллаха!) от неприглядной мирской повседневности в вечность.

В детстве ему часто что-то мерещилось. Силуэты, двигавшиеся на самом краю поля зрения. Кому из нас не казалось, что кто-то стоит справа или слева и убегает прочь, стоит повернуть голову? В детстве он думал, что это фаришты, ангелы, которые присматривают за ним. И он чувствовал себя защищенным, любимым, лелеемым великим, доброжелательным, невидимым присутствием.

Однажды он спросил мать: «Почему фаришты не хотят остаться и поговорить со мной? Почему всегда убегают, когда я поворачиваю голову?»

Он был ребенком и не понял, почему, услышав этот невинный вопрос, мать отвела его к знахарю. Абдул Карим всегда боялся лавки знахаря, стены которой были сверху донизу увешаны старыми часами. Часы тикали, и гудели, и жужжали, а еще был чай в щербатых чашках, и вопросы о духах и одержимости, и горькие травы в древних бутылочках, где словно томились джинны. Мальчику дали амулет, который следовало носить на шее, и велели каждый день читать суры из Корана. Он сидел на краешке потертого бархатного стула и дрожал; после двух недель лечения, когда мать спросила про фаришт, он ответил: «Они ушли».

Это была ложь.

> Моя теория тверда как камень, любая стрела, выпущенная в нее, быстро вернется к лучнику. Почему я в этом уверен? Потому что много лет изучал ее со всех возможных сторон; потому что рассмотрел все возражения, когда-либо выдвинутые против бесконечных чисел; и в первую очередь потому, что проследил ее корни, можно сказать, к первой безошибочной причине всего сотворенного.
>
> *Георг Кантор, немецкий математик (1845–1918)*

В конечном мире Абдул Карим думает о бесконечности. Он встречал различные бесконечности в математике. Если математика – язык природы, значит, в окружающем нас физическом мире тоже существуют бесконечности. Они смущают нас, потому что люди – ограниченные создания. Наша жизнь, наша наука, наша религия – все они меньше Вселенной. Бесконечна ли Вселенная? Возможно. В нашем понимании – вполне может быть.

В математике есть последовательность натуральных чисел, шагающих, словно крошечные целеустремленные солдаты, в бесконечность. Но Абдул Карим знает, что существуют и менее очевидные бесконечности. Нарисуйте прямую, отметьте на одном конце ноль, а на другом – цифру один. Сколько чисел поместится между нулем и единицей? Если начнете считать прямо сейчас, будете считать до тех пор, пока Вселенной не наступит конец, и даже не приблизитесь к единице. По пути вам встретятся рациональные числа и иррациональные, а главное, трансцендентные. Трансцендентные числа – самые удивительные: их нельзя получить из целых чисел путем деления или решения простых уравнений. Однако в последовательности одноразрядных чисел встречаются непроходимые заросли трансцендентных: это самые плотные, самые многочисленные из всех чисел. Они появляются, лишь когда вы берете определенные отношения, например, длины окружности к ее диаметру, или складываете бесконечное число слагаемых в ряду, или преодолеваете бессчетное множество членов последовательностей бесконечных непрерывных дробей. Самое знаменитое из них, конечно, пи, 3,14159…, в котором после десятичной запятой следует бесконечное число

неповторяющихся цифр. Трансцендентные числа! В их вселенной бесконечностей больше, чем мы можем себе представить.

В конечности – в маленьком отрезке числовой прямой – кроется бесконечность. Какая глубокая, красивая идея, думает Абдул Карим. Возможно, в нас тоже есть бесконечности, целые вселенные бесконечностей.

Простые числа также занимают Абдула Карима. Атомы целочисленной арифметики, избранники, из которых складываются все остальные целые числа, как буквы алфавита складываются в слова. Существует бесконечное множество простых чисел, и они достойны считаться алфавитом самого Бога…

Как невыразимо загадочны простые числа! Кажется, они случайно разбросаны по численной последовательности: 2, 3, 5, 7, 11… Нет способа предсказать следующее число без проверки. Ни одна формула не даст все простые числа. И тем не менее им присуща таинственная регулярность, которую не смогли уловить величайшие математики мира. Замеченная Риманом, но так и не доказанная, эта упорядоченность столь глубока, столь совершенна, что мы пока не готовы ее понять.

Поиск бесконечности в очевидно конечном мире – можно ли найти более благородное занятие для человека, особенно такого, как Абдул Карим?

В детстве он расспрашивал взрослых в мечети: «Почему говорят, что Аллах одновременно един и бесконечен?» Повзрослев, прочел труды Аль-Кинди и Аль-Газали, Авиценны и Икбала, но его беспокойный ум так и не нашел ответов. Большую часть своей жизни он считал, что ключ к глубочайшим тайнам кроется не в философских спорах, а в математике.

Знают ли его постоянные спутники, фаришты, ответ, который он ищет? Иногда, заметив одну краем глаза, он молчаливо задает вопрос. Не оборачиваясь. Верна ли гипотеза Римана?

Молчание.

Являются ли простые числа ключом к пониманию бесконечности?

Молчание.

Существует ли связь между трансцендентными и простыми числами?

Нет ответа.

Но изредка – намек на голос, тихий шепот звучит в его сознании. Абдул Карим не знает, проделки ли это его разума или нет, потому что не может разобрать слов. Он вздыхает и снова погружается в исследования.

Он читает о простых числах в природе. Узнает, что распределение расстояний между энергетическими уровнями возбужденного ядра урана вроде бы соответствует распределению расстояний между простыми числами. Он лихорадочно листает страницы статьи, изучает графики, пытается понять. Как странно, что Аллах оставил подсказку в недрах атомного ядра! Абдул Карим плохо знает современную физику – и совершает набег на библиотеку, чтобы познакомиться со строением атомов.

Его воображение несется вскачь. Размышляя о прочитанном, он начинает подозревать, что, возможно, материя бесконечно делима. Он одержим идеей, что не существует такого понятия, как элементарная частица. Кварк состоит из преонов. Возможно, сами преоны состоят из еще более мелких частиц. Нет предела тонкой структурированности материи.

Это намного приятней мысли о том, что где-то процесс останавливается, что существует некий допреон, который состоит только из самого себя. Насколько фрактально разумней, насколько красивей материя из бесконечных вложенных ячеек.

В этом есть симметрия, которая приятна Абдулу Кариму. В конце концов, бесконечность проявляется и в очень больших вещах. Нашей Вселенной, которая постоянно и, очевидно, безгранично расширяется.

Он обращается к работе Георга Кантора, которому хватило смелости формализовать математические исследования бесконечности. Абдул Карим старательно корпит над математикой, водя пальцем по каждой строке, каждому уравнению в пожелтевшем учебнике, лихорадочно делая карандашные пометки. Это Кантор обнаружил, что некоторые бесконечные множества более бесконечны, чем другие, – что в бесконечности существуют пласты и ярусы. Посмотрите на целые числа: 1, 2, 3, 4… Это бесконечность, но более низкого порядка, нежели бесконечность действительных чисел: 1,67, 2,93 и так далее. Можно сказать, что множество целых чисел обладает порядком алеф-ноль, в то время как множество действительных чисел – порядком алеф-один, подобно иерархическим рангам королевских придворных. Вопросом, который мучил Кантора и в конечном итоге стоил ему рассудка и жизни, была континуум-гипотеза, утверждающая, что не существует бесконечных множеств чисел с порядком *между* алеф-ноль и алеф-один. Иными словами, алеф-один следует сразу за алеф-ноль, и не существует промежуточного ранга. Но Кантор не смог это доказать. Он разработал математику бесконечных множеств. Бесконечность плюс бесконечность равно бесконечность. Бесконечность минус бесконечность равно бесконечность. Однако континуум-гипотеза осталась за пределами его досягаемости.

Абдулу Кариму Кантор кажется картографом в странном новом мире. Здесь скалы бесконечности нескончаемо тянутся к небу, а Кантор – крошечная фигурка, затерявшаяся в этом великолепии, словно муха на краю пропасти. Но какая отвага! Какой дух! Дерзнуть *классифицировать* бесконечность…

Исследования приводят Абдула Карима к статье математиков Древней Индии. Они использовали особые слова для больших чисел. Один пурви, единица времени, равнялся семистам пятидесяти шести тысячам миллиардов лет. Одна сирсапрагелика – восьми целым четырем десятым миллионов пурви, возведенных в двадцать восьмую степень. Для чего им понадобились столь большие числа? Какие они видели горизонты? Что за дивная самонадеянность овладела ими, чтобы они, слабые создания, мечтали в таких масштабах?

Однажды он говорит об этом своему другу, живущему поблизости индусу по имени Гангадхар. Руки Гангадхара замирают над шахматной доской (в разгаре традиционная еженедельная партия), и он цитирует Веды: «Из Бесконечного возьми Бесконечное, и – смотри! – останется Бесконечность…»

Абдул Карим поражен. Его предки на четыре тысячелетия опередили Георга Кантора!

> Эта любовь к науке… эти любезность и снисходительность, которые Господь проявляет к сведущим, быстрота, с которой он оказывает им защиту и поддержку в разрешении неясностей и устранении сложностей, подвигли меня на краткий труд по использованию аль-джебр и аль-мукабала для вычислений, наиболее простых и полезных в арифметике.
> *Аль-Хорезми, арабский математик VIII века*

Математика давалась ему легко, как дыхание. Он играючи справился с экзаменами в маленькой муниципальной школе. Это был провинциальный район, населенный в основном мелкими торговцами и незначительными госслужащими, и местные дети, похоже, унаследовали медлительную родительскую практичность. Никто не понимал странно умного мусульманского мальчика, за исключением его одноклассника-индуса Гангадхара, приветливого, общительного паренька. Хотя Гангадхар играл на улицах в гилли-данду и бегал быстрее всех, он любил литературу, особенно поэзию – увлечение столь же непрактичное, сколь чистая математика. Мальчики сдружились и провели много часов, сидя на стене позади школы, лакомясь плодами ямболана, украденными с окрестных деревьев, и беседуя на всевозможные темы, от поэзии урду и стихосложения на санскрите до преобладания математики над всеми другими вещами, включая человеческие эмоции. Они чувствовали себя очень

взрослыми и зрелыми. Именно Гангадхар, смущенно хихикая, познакомил Абдула Карима с эротической поэзией Калидасы. В те времена девочки были для них загадкой: хотя дети учились вместе, девчонки (которые, разумеется, принадлежали к совсем иному виду, нежели их сестры) казались мальчикам странными, грациозными, чужеземными созданиями из другого мира. Своими лирическими описаниями грудей и бедер Калидаса пробудил в них смутные желания.

Конечно, иногда они дрались, как и все друзья. Первая серьезная ссора произошла, когда в городе выросла напряженность между индусами и мусульманами, прямо перед выборами. Гангадхар подошел к Абдулу на школьной площадке и ударил его.

– Ты кровожадный мусульманин! – заявил он, словно впервые понял это.

– А ты неверный, которого ждет ад!

Они били друг друга кулаками, катаясь по землю. В конце концов, с разбитыми губами и синяками, обменялись яростными взглядами и разбрелись в разные стороны. На следующий день они играли на улице в гиллиданду друг против друга, впервые в жизни.

Потом они столкнулись в школьной библиотеке. Абдул Карим напрягся, готовый ответить, если Гангадхар ударит его. Судя по всему, Гангадхару пришла в голову такая мысль, но потом он, немного смущенно, протянул Абдулу Кариму книгу.

– Новая книга… по математике. Я подумал, ты захочешь взглянуть.

После этого они снова сидели на стене, как обычно.

Их дружба выдержала даже великие восстания четыре года спустя, когда город превратился в склеп – сожженные дома и обгорелые тела, невообразимые зверства со стороны как индусов, так и мусульман. Какой-то политический лидер сделал провокационное заявление, которое впоследствии не смог даже вспомнить, и вспыхнуло насилие. Последовала драка на автобусной остановке, обвинения полиции в жестокости против мусульман – и ситуация вышла из-под контроля. Старшая сестра Абдула Айша была с кузиной на рынке, когда случилось особенно свирепое побоище. Они потеряли друг друга в обезумевшей толпе; кузина вернулась домой, окровавленная, но живая, Айша пропала навсегда.

Семья так и не оправилась от этого удара. Мать Абдула машинально продолжала существовать, но утратила интерес к жизни. Отец исхудал, превратился в сморщенную тень прежнего энергичного мужчины и через несколько лет умер. Что касается Абдула, сообщения о жестокостях преследовали его в кошмарах, и во сне он снова и снова видел, как его сестру бьют дубинками, насилуют, рвут в клочья. Когда город успокоился, он целыми днями бродил по рыночным улицам в надежде отыскать Айшу – пусть только ее тело, – разрываемый надеждой и лихорадочной яростью.

Отец перестал общаться со своими друзьями-индусами. Абдул не последовал его примеру лишь потому, что родственники Гангадхара во время бойни приютили мусульманскую семью и отогнали толпу разъяренных индусов.

Со временем рана если не исцелилась, то стала терпимой, и он смог начать жить заново. Он с головой погрузился в любимую математику, закрывшись ото всех, кроме своей семьи и Гангадхара. Мир причинил Абдулу Кариму боль. Он ничего не был ему должен.

> Арьябхата – учитель, который, достигнув дальних берегов и величайших глубин моря высшего знания математики, кинематики и сферической геометрии, подарил ученому миру три науки.
> *Математик Бхаскара об индийском математике VI века Арьябхате, сто лет спустя*

Абдул Карим первым в своей семье поступил в колледж. Благодаря чудесной удаче Гангадхар поступил в тот же институт, чтобы изучать литературу хинди, в то время как Абдул Карим посвятил себя тайнам математики. Отец Абдула смирился с одержимостью и очевид-

ным талантом сына. Сам Абдул Карим, светясь от учительских похвал, хотел пойти по стопам Рамануджана. Богиня Намаккал явилась этому гению-самоучке во сне и написала на его языке математические формулы (по крайней мере, так утверждал сам Рамануджан). Абдул Карим задавался вопросом, не послал ли ему Аллах фаришту, чтобы тоже благословить его математическими способностями.

Тогда и произошло событие, убедившее его в этом.

Абдул был в институтской библиотеке, работал над задачей по дифференциальной геометрии, когда краем глаза заметил фаришту. Как и прежде, он медленно повернул голову, ожидая, что видение исчезнет.

И увидел темную тень, стоявшую перед длинным книжным шкафом. Тень имела смутные человеческие очертания. Она медленно повернулась, оказавшись тонкой, как бумага, но поворачиваясь, словно обрела толщину, и на темном стройном силуэте проступили очертания. А потом Абдулу почудилось, будто в воздухе приоткрылась дверь, совсем немного, и за ней лежал невероятно странный мир. Тень встала у двери, поманив Абдула Карима рукой, но он сидел не шевелясь, замерев от восторга. Прежде чем он успел опомниться, дверь и тень быстро повернулись и исчезли, и перед ним остались только стопки книг на полке.

После этого он больше не сомневался в своей судьбе. Ему постоянно снился сон о том странном мире, что он успел заметить; всякий раз, почувствовав фаришту, он медленно поворачивал к ней голову – и всякий раз она исчезала. Он говорил себе, что это лишь вопрос времени, что рано или поздно одна из них придет, останется и, может, – о чудо из чудес – возьмет его в тот иной мир.

Потом внезапно умер его отец. На этом математическая карьера Абдула Карима закончилась. Ему пришлось вернуться домой, чтобы позаботиться о матери, двух оставшихся сестрах и брате. Квалификация Абдула Карима позволяла лишь устроиться на работу учителем. В конце концов он получил место в той же муниципальной школе, которую окончил.

По пути домой он увидел женщину. Поезд остановился на мосту. Внизу сонно изгибалась маленькая речушка, золотая в лучах раннего утреннего солнца, над водой стелился призрачный туман, а на берегу стояла женщина с глиняным кувшином. Она искупалась в реке – выцветшее, поношенное сари влажно прильнуло к ее телу, когда она подняла кувшин, пристроила на бедре и начала взбираться на берег. Она будто светилась в рассветной дымке – туманное видение, округлый кувшин на округлом бедре. Их глаза встретились; он вообразил, что она увидела: замерший поезд, молодой человек с редкой бородкой, смотрящий на нее, как на первую женщину в мире. Она бесстрашно встретила его взгляд, словно богиня, заглянувшая к нему в душу. На мгновение между ними не осталось ни преград, ни границ – ни пола, ни религии, ни касты, ни класса. Потом она развернулась и скрылась за палисандровой рощицей.

Он не был уверен, действительно ли видел ее в рассветных сумерках или она была плодом его воображения, но долгое время она являлась для него воплощением первоначала. Иногда он думал о ней как о Женщине, иногда как о реке. Он приехал домой к похоронам. С упорным оптимизмом юности продолжал надеяться, что однажды удача повернется к нему лицом, он вернется в колледж и получит степень. Тем временем мать подыскивала ему невесту…

Абдул Карим женился, у него родились дети. Постепенно, за годы, что он провел, успокаивая буйные классы, занимаясь с учениками по вечерам и откладывая пайсу за пайсой из своей скудной зарплаты на свадьбы сестрам и другие расходы, Абдул Карим утратил связь с молодым, пылающим талантом, которым когда-то обладал, и с амбициями достичь высот, которые покорили Рамануджан, Кантор и Риман. Он стал медленнее соображать. Интеллект, обремененный годами тревог, изнашивается. Когда жена умерла, а дети выросли и разъехались, постоянно уменьшающиеся потребности Абдула Карима наконец сравнялись с нищен-

ским доходом, и он понял, что снова может думать о математике. Он больше не мечтал потрясти математический мир каким-то новым прозрением, например, доказательством гипотезы Римана. Эти мечты развеялись. Он мог лишь надеяться погреться в лучах трудов своих предшественников и вновь испытать радость – чужих – озарений. Время сыграло с ним скверную шутку: у него появилась возможность, но он утратил способности, – однако это не преграда для истинной одержимости. Теперь, осенью своей жизни, он словно вновь ощутил дыхание весны, которая вернула ему старую любовь.

Пусть голод и жажда мир на колени поставили – но
Есть и другие Правды, помимо правды Любви…

Сахир Лудхианви, индийский поэт (1921–1980)

Иногда Абдул Карим устает от своей математической одержимости. В конце концов, он уже немолод. Сказываются бесчисленные часы, проведенные во дворе с тетрадью, карандашом и книгами по математике. Он поднимается, испытывая боль во всем теле, проверяет, как дела у матери, и идет на кладбище, где похоронена его жена.

Его жена Зейнаб была полной светлокожей женщиной, которая едва умела читать и писать и скользила по дому с ленивым изяществом. Ее добродушный смех звенел во дворе, когда она болтала с прачкой. Она любила поесть – он до сих пор помнил нежные кончики ее пухлых пальцев, как они обхватывали кусочек ягнятины и вместе с несколькими зернышками шафранового риса благоговейно подносили ко рту. Ее габариты создавали впечатление силы, но против своей свекрови она устоять не смогла. Смех в глазах Зейнаб постепенно тускнел по мере того, как сыновья подрастали и оказывались под заботливым присмотром бабушки, на ее стороне женской половины. Сам Абдул Карим не догадывался о молчаливой войне между женой и матерью – он был молод и поглощен преподаванием математики сопротивлявшимся ученикам. Он заметил, что мать постоянно держала на руках младшего сына и напевала ему, а старший сын везде ходил за ней по пятам, но никак не связал это наблюдение с тем, что его жена становилась все бледнее. Однажды ночью он попросил ее помассировать ему ноги – так они называли секс – и нетерпеливо ждал, когда она придет с женской половины, желая найти утешение в ее уютной пышной обнаженности, мягких, шелковистых грудях. Наконец она появилась и встала на колени в изножье кровати, закрыв лицо руками, ее грудь вздымалась от приглушенных рыданий. Он обнял жену, гадая, что могло разбередить ее спокойную, добрую натуру, и она тесно прижалась нему. Никакие уговоры не смогли заставить Зейнаб открыть, что лежит у нее на сердце. Наконец, в перерывах между глубокими, судорожными вздохами, она сказала, что единственное, чего ей хочется в этом мире, – это еще один ребенок.

Абдул Карим прислушивался к современным идеям; он считал, что два ребенка, тем более мальчика, – более чем достаточно для семьи. У него было четыре брата и сестры, и он пережил нищету и боль расставания с мечтой об университетской карьере ради того, чтобы помочь семье. Он не хотел, чтобы его детям пришлось пройти через это. Но когда жена шепнула, что хочет еще одного ребенка, он поддался.

Теперь, оглядываясь назад, он жалел, что не попытался понять истинные причины ее огорчения. Беременность оказалась сложной. Мать почти полностью взяла на себя заботу о мальчиках, а Зейнаб лежала в постели на женской половине, молчаливо плача и прося Аллаха спасти ее. «Это девочка, – мрачно сказала мать Абдула Карима. – Только девочка может принести такие неприятности». И посмотрела за окно, во двор, где когда-то играла и помогала развешивать белье ее собственная дочь, мертвая сестра Абдула Карима, Айша.

И это действительно оказалась девочка, мертворожденная, которая забрала с собой мать. Их похоронили вместе на крошечном неопрятном кладбище, куда Абдул Карим прихо-

дил, когда испытывал уныние. Могильный камень покосился, могила заросла травой. Отец тоже был похоронен здесь, и трое братьев и сестер Карима, умерших до того, как ему исполнилось шесть. Не хватало только Айши, пропавшей Айши, которая утешала маленького мальчика, – он помнил сильные, щедрые руки, изящные, пахнущие ароматной хной ладони, гладкую щеку.

На кладбище Абдул Карим отдает дань памяти жены, а его сердце трепещет от царящего здесь запустения. Он боится, что если кладбище разрушится, погребенное сорняками и временем, он забудет Зейнаб, и ребенка, и свою вину. Иногда он пытается вырвать сорняки и высокую траву голыми руками, но изящные ладони ученого быстро покрываются порезами и ссадинами, и он вздыхает и думает о суфийской поэтессе Джаханаре, которая несколько веков назад написала: «И пусть мою могилу скроет зеленая трава!»

> Я часто размышлял о роли в процессе открытия знания или опыта, с одной стороны, – и воображения и интуиции, с другой. Я считаю, что между ними существует определенный основополагающий конфликт, и знание, призывая к осторожности, подавляет полет воображения. Следовательно, некоторая наивность, не обремененная традиционной мудростью, иногда может быть полезна.
>
> *Хариш-Чандра, индийский математик (1923–1983)*

Гангадхар, его школьный друг, недолго работал учителем литературы хинди в муниципальной школе; теперь он – научный сотрудник Библиотеки наследия Амравати и, в свободное время, поэт. Он единственный человек, с которым Абдул Карим может поделиться своей тайной страстью.

Со временем Гангадхар тоже увлекается идеей бесконечности. Пока Абдул Карим корпит над Кантором и Риманом и пытается осмыслить теорему о распределении простых чисел, Гангадхар совершает набеги на библиотеку и возвращается с сокровищами. Каждую неделю Абдул проходит две мили до дома Гангадхара, слуга проводит его в уютную гостиную с изящной, пусть и старой мебелью из красного дерева, и они делятся своими открытиями за чашкой кардамонного чая и шахматами. Гангадхар не в состоянии понять высшую математику, но понимает терзания ученого и знает, каково это – откалывать по кусочку от стены неведения и прозреть свет озарения. Он находит цитаты из Арьябхаты и Аль-Хорезми и говорит другу такие вещи: «Ты знаешь, Абдул, что грекам и римлянам идея бесконечности не нравилась? Аристотель спорил с ней и считал вселенную конечной. Из греков только Архимед дерзнул посягнуть на этот пик. И пришел к выводу, что различные бесконечные количества можно сравнивать, что одна бесконечность может быть больше или меньше другой…»

И по другому поводу:

«Французский математик Жак Адамар – это он доказал теорему о распределении простых чисел, которая приводит тебя в такой восторг, – так вот, он утверждает, что существует четыре стадии математического открытия. Если подумать, как и в работе художника или поэта. Первая – ознакомиться и изучить то, что известно. Вторая – дать этим представлениям уложиться в твоей голове, подобно тому, как восстанавливается между посевами земля под паром. Затем – если повезет – случится вспышка, момент озарения, когда ты увидишь что-то новое и интуитивно почувствуешь, что это правда. Последняя стадия – проверить это прозрение на соответствие математическим законам…»

Абдул Карим думает, что если ему удастся справиться с первыми двумя стадиями Адамара, возможно, Аллах вознаградит его озарением. А может, и нет. Когда-то он надеялся стать вторым Рамануджаном; теперь эти надежды умерли. Но ни один истинно Влюбленный не уйдет от порога дома Возлюбленной, даже зная, что его не впустят.

«Что меня действительно тревожит, – делится он с Гангадхаром во время одной дискуссии, – что меня всегда тревожило, так это теорема Гёделя о неполноте. Согласно Гёделю, в математике должны существовать утверждения, которые нельзя доказать. Он показал, что одно из таких утверждений – континуум-гипотеза Кантора. Бедный Кантор, он лишился ума, пытаясь доказать то, что невозможно ни доказать, ни опровергнуть! Что, если все наши идеи о простых числах и бесконечности – такие же утверждения? Если их нельзя проверить на соответствие условиями математической логики, как узнать, что они истинны?»

Это очень его беспокоит. Он сидит над доказательством теоремы Гёделя, пытаясь понять его, пытаясь найти обходной путь. Гангадхар подбадривает друга: «Знаешь, в старых легендах великое сокровище обязательно охраняет чудовище соответствующей величины. Может, теорема Гёделя – это джинн, охраняющий истину, которую ты ищешь. Может, вместо того чтобы убивать его, тебе следует с ним, ну, подружиться…»

Благодаря своим занятиям, благодаря беседам с Ган-гадхаром Абдул Карим вновь начинает считать Архимеда, Аль-Хорезми, Хайяма, Арьябхату, Бхаскару, Римана, Кантора, Гаусса, Рамануджана, Харди своими подлинными друзьями.

Они учителя, а он – их скромный студент, ученик, поднимающийся на гору по их следам. Подъем дается нелегко. В конце концов, Абдул Карим стареет. Он предается мечтам о математике, приходя в себя лишь для того, чтобы позаботиться о матери, которая становится все слабее.

Некоторое время спустя даже Гангадхар делает ему выговор:

«Человек не может жить с такой одержимостью. Ты хочешь пойти по дорожке Кантора и Гёделя? Береги свой разум, друг мой. У тебя есть долг перед матерью и перед обществом».

Гангадхар не понимает. Разум Абдула Карима поет вместе с математикой.

Предел функции f(N) при N, стремящемся к бесконечности…

Сколько раз он задавал себе вопросы, начинающиеся с этих слов. Функция f(N) может быть функцией распределения простых чисел, или числом матрешек материи, или границей Вселенной. Она может быть абстрактной, как параметр в математическом пространстве, или земной, как ветвление морщинок на лице его матери, которая дряхлеет под деревьями личи на мощеном дворе. Дряхлеет, но не умирает, словно живая апория Зенона.

Он любит свою мать, как любит дерево личи: за то, что она существует, что сделала его тем, кто он есть, что дала ему приют и заботу.

Предел… при N, стремящемся к бесконечности…

Так начинаются многие теоремы математического анализа. Абдул Карим гадает, что за математика управляет медленной дугой умирания его матери. Что, если жизни не нужны минимальные пороговые условия? Что, если смерть – лишь предел некой функции f(N) при N, стремящемся к бесконечности?

Мир, в котором жизнь человека – лишь пешка,
Мир, полный смертопоклонников,
Где смерть стоит меньше, чем жизнь…
Это не мой мир…

Сахир Лудхианви, индийский поэт (1921–1980)

Пока Абдул Карим, подобно многим заблуждавшимся дуракам и гениям, балуется математикой бесконечности, мир меняется.

Он смутно осознает, что снаружи что-то происходит – что люди живут и умирают, что случаются политические волнения, что это самое жаркое лето за всю историю, и в северной Индии тысяча людей погибла от перегрева. Он знает, что Смерть стоит за плечом его матери, выжидая, и делает для нее все, что может. Хотя он не всегда соблюдал пять ежедневных

молитв, теперь он исполняет намаз вместе с ней. Она уже начала превращаться в гражданина другого государства – живет обрывками и клочками минувших дней, зовет то Айшу, то давно умершего мужа. Слова утраченной юности слетают с ее дрожащих губ. Приходя в себя, она просит Аллаха забрать ее.

Хотя Абдул Карим неусыпно заботится о матери, раз в неделю он с облегчением отправляется сыграть в шахматы и побеседовать с Гангадхаром. Пока его нет, соседская тетушка присматривает за матерью. Вздыхая, он идет по знакомым с детства улицам, его туфли вздымают облачка пыли под древними ямболанами, на которые он лазил мальчишкой. Он здоровается с соседями: старым господином Амином Кханом, который сидит на своей плетеной кровати, сопя над кальяном; близнецами Али, сумасбродными мальчишками, которые гоняют балкой велосипедную покрышку; торговцем Имраном. Немного побаиваясь, переходит оживленную рыночную дорогу, минуя выцветшие тенты Муншилаля и сыновей, минуя стоянку рикш, и сворачивает на тихую улочку, затененную палисандрами. Гангадхар живет в скромном белом бунгало, посеревшем от бесчисленных муссонов. Деревянная калитка в стене привычно скрипит, приветствуя Абдула Карима.

Но приходит день, когда в доме Гангадхара не играют в шахматы.

Мальчик-слуга – не Гангадхар – проводит Абдула Карима в знакомую комнату. Усаживаясь в привычное кресло, он замечает, что шахматная доска убрана. Из внутренних комнат доносится шум: женские голоса, скрип тяжелых предметов, которые волокут по полу.

Пожилой мужчина входит в комнату и при виде Абдула Карима останавливается. Он кажется смутно знакомым; наконец Абдул припоминает, что это какой-то родственник жены Гангадхара, возможно, дядя, который живет на той стороне города. Они пару раз встречались на семейных торжествах.

– Что ты здесь делаешь? – спрашивает мужчина без привычной вежливости. Он сед, но крепко сложен.

Озадаченный и немного оскорбленный, Абдул Карим говорит:

– Я пришел сыграть в шахматы с Гангадхаром. Его нет дома?

– Сегодня шахмат не будет. Тебе что, мало вреда, который вы причинили? Ты явился издеваться над нашей скорбью? Так вот что я скажу тебе…

– Что случилось? – Возмущение Абдула Карима смыто волной мрачного предчувствия. – О чем вы говорите? С Гангадхаром все в порядке?

– На случай, если ты не знаешь, – отвечает старик насмешливо, – вчера вечером твои люди сожгли автобус на дороге в Пахарию. В нем было десять человек, все индусы, они возвращались из храма с семейной церемонии. Все погибли ужасной смертью. Говорят, это сделали твои люди. Не позволили выбраться из автобуса даже маленьким детям. Теперь весь город бурлит. Кто знает, что может произойти? Мы с Гангадхаром увозим его семью в более безопасный район.

Глаза Абдула Карима широко распахнуты от ужаса. Он не может найти слов.

– Сотни лет мы, индусы, терпели вас. Хотя мусульмане на протяжении веков грабили нас и убивали, мы позволяли вам строить свои мечети и поклоняться своему богу. И вот как вы нас отблагодарили!

В мгновение ока Абдул Карим стал одним из «твоих людей». Он хочет сказать, что не имеет никакого отношения к гибели тех индусов в автобусе. Не он поджег его! Но слов нет.

– Можете себе представить, господин учитель? Можете представить пламя? Их крики? Эти люди никогда не попадут домой…

– Могу, – мрачно отвечает Абдул Карим. Встает, но тут в комнату входит Гангадхар. Он явно слышал часть разговора, потому что мягко кладет руки на плечи Абдула Карима, в отличие от старика, признавая его. Это Абдул Карим, друг, чья сестра много лет назад не вернулась домой.

Гангадхар поворачивается к дяде своей жены.

– Дядя, пожалуйста. Абдул Карим совсем не похож на этих негодяев. Добрее человека я не встречал! И до сих пор неизвестно, кто они такие, хотя весь город полнится слухами. Абдул, пожалуйста, сядь. В какие времена мы живем, раз можем говорить друг другу подобные вещи! Увы! Кали-юга[2] действительно наступила.

Абдул Карим садится, но его трясет. Все мысли о математике исчезли. Его переполняют неприязнь и отвращение к варварам, которые совершили это зверство, неприязнь и отвращение к человечеству в целом. Что за выродившийся вид! Жечь и разрушать, прикрываясь именем Рамы, или Аллаха, или Христа, – вот вся наша история.

Качая головой, дядя выходит из комнаты. Гангадхар рассказывает Абдулу о давно минувших событиях, прося прощения за дядю.

– Вопрос политических манипуляций, – говорит он. – Британские колонисты нашли нашу слабость, использовали ее, натравили нас друг на друга. Открыть дверь в ад легко, закрыть – намного сложнее. Все эти годы, до британского правления, мы жили в относительном мире. Почему мы не можем захлопнуть дверь, которую они распахнули? В конце концов, разве религия велит нам убивать ближних?

– Какая разница? – с горечью отвечает Абдул Карим. – Мы, люди, – испорченные существа, друг мой. Мои собратья-мусульмане обращают молитвы к Аллаху, Всемилостивому и Милосердному. Вы, индусы, считаете, что *Isha Vasyam Idam Sarvam* – бог повсюду. Христиане предлагают подставлять другую щеку. Но у всех нас руки в крови. Мы извращаем все – мы берем слова о мире, произнесенные пророками и святыми, и используем их как оружие, чтобы убивать друг друга!

Его так сильно трясет, что он едва может говорить.

– Лишь в математике… лишь в математике я вижу Аллаха…

– Успокойся, – говорит Гангадхар. Велит слуге принести воды господину учителю. Абдул Карим пьет и вытирает губы. Из глубины дома выносят чемоданы. На улице ждет такси.

– Послушай, друг мой, – говорит Гангадхар, – тебе следует подумать о своей безопасности. Отправляйся домой, запри двери и позаботься о матери. Я отсылаю домочадцев и через день-другой присоединюсь к ним. Когда это безумие закончится, я тебя найду!

Абдул Карим отправляется домой. Все выглядит как обычно – ветер гоняет мусор по улицам, лавка, в которой продают паан, открыта, на автобусной остановке толпятся люди. Потом он замечает, что нигде нет детей, хотя сейчас летние каникулы.

Овощной рынок бурлит. Люди скупают все подряд, словно безумные. Абдул Карим берет несколько картофелин, лук и большую тыкву и идет домой. Запирает дверь. Его мать, которая больше не может готовить пищу, смотрит, как он готовит. После еды он укладывает ее в постель, а сам отправляется в свой кабинет и открывает книгу по математике.

Проходит день, может, два – он не следит. Он помнит, что нужно заботиться о матери, но часто забывает поесть. Его мать все больше времени проводит в том, ином мире. Сестры и брат звонят из других городов, встревоженные сообщениями о вспышке насилия; он просит их не тревожиться. Когда все успокоится, они смогут приехать и проведать его и мать.

Сколь удивительна ты, о Загадка Вселенной,
Постичь тебя может лишь тот,
кто поистине Любит.

[2] Кали-юга – последняя из четырех юг (эпох) в индуистском временном цикле; характеризуется упадком нравственности и вырождением человеческой цивилизации.

Буллех Шах, пенджабский суфийский поэт XVIII века

Логика лишь ратифицирует достижения интуиции.
Жак Адамар, французский математик (1865–1963)

Как-то утром он выходит из темноты кабинета в солнечный двор. Вокруг корчится и пылает старый город, но Абдул Карим видит и слышит только математику. Он садится в древнее плетеное кресло, берет с земли палочку и начинает чертить в пыли математические символы.

Краем глаза он замечает фаришту.

Абдул Карим медленно поворачивается. Темная тень остается, ждет. На этот раз Абдул Карим проворно вскакивает на ноги, несмотря на внезапный укол боли в колене. Он идет к двери, к манящей руке, и шагает за порог.

На мгновение он испытывает чувство кошмарной дезориентации – он словно провалился сквозь иное измерение в этот скрытый мир. Затем тьма перед глазами рассеивается, и Абдулу Кариму открываются чудеса.

Стоит тишина. Он смотрит на бескрайние землю и небо, подобных которым никогда не видел. Темные пирамидальные силуэты усеивают ландшафт, гигантские монументы чему-то за пределами понимания Абдула Карима. Огромный многогранный объект висит в бледно-оранжевом небе, где нет солнца, лишь разлито рассеянное мерцание. Абдул Карим опускает взгляд на свои ноги в привычных поношенных сандалиях и видит, что в песке извиваются и плодятся крошечные создания, похожие на рыбок. Забившийся между пальцами песок кажется теплым и эластичным, будто это и не песок вовсе. Абдул Карим делает глубокий вдох и чувствует, что к запаху его собственного пота примешивается что-то странное, похожее на жженую резину. Тень стоит рядом, наконец плотная, почти человеческая, если не считать отсутствия шеи и обилия конечностей – их число словно меняется, и сейчас Абдул Карим насчитывает пять.

Темное отверстие в голове распахивается и смыкается, но звука нет. Вместо этого Абдулу кажется, будто ему в сознание вложили мысль, посылку, которую он вскроет позже.

Он идет вместе с тенью по песку, к берегу тихого моря. Вода – если это она – мягко кипит и пенится, в ее глубинах движутся призрачные силуэты, а еще глубже Абдул Карим различает силуэт сложной структуры. Арабески возникают, рушатся и выстраиваются снова. Он облизывает сухие губы, чувствует вкус металла и соли.

Он смотрит на своего спутника, который делает ему знак остановиться. Открывается дверь. Они вместе входят в другую вселенную.

Она отличается от предыдущей. Сплошные воздух и свет, все пространство заткано огромной полупрозрачной паутиной. Каждая нить паутины – полая трубка, в которой текут жидкие создания. Более мелкие плотные твари парят в пустоте между нитями.

Лишенный дара речи, Абдул Карим протягивает руку к паутине. Ее хрупкость напоминает ему ажурные серебряные ножные браслеты, которые носила его жена. К изумлению Абдула Карима, плывущее в нити крошечное существо останавливается. Оно похоже на пухлую, водянистую запятую, полупрозрачную и безликую, однако Абдулу Кариму все равно кажется, что на него смотрят, его изучают – и он здесь тоже чудо.

Нить паутины касается кончика его пальца, он чувствует ее прохладную, чужеродную гладкость.

Дверь открывается. Они входят.

От этого безумного путешествия кружится голова. Иногда он видит проблески собственного мира, деревья, улицы и далекие голубые холмы. Очевидно, эти видения относятся к разным временам: один раз он смотрит на огромную армию, украшенные перьями шлемы

солдат сверкают на солнце; Абдул Карим думает, что это расцвет Римской империи. В другой раз ему кажется, что он вернулся домой, потому что перед ним его собственный двор. Но в плетеном кресле сидит старик и палочкой рисует в пыли узоры. На землю падает тень. Кто-то невидимый подкрадывается к старику из-за спины. Что блестит у незнакомца в руке? Нож? Что происходит? Абдул Карим пытается крикнуть, но не может произнести ни звука. Картинка расплывается, открывается дверь, и они входят.

Абдул Карим дрожит. Неужели он только что видел свою смерть? Он помнит, что именно так погиб Архимед: рисовал окружности, поглощенный геометрической задачей, когда сзади подошел солдат-варвар и убил его.

Но времени на раздумья нет. Абдула Карима захлестнула карусель вселенных, непохожих и удивительных. Тень показывает ему так много миров, что он давно сбился со счета. Он откладывает мысли о Смерти и окунается в чудо.

Его спутник распахивает дверь за дверью, Лицо, лишенное черт, если не считать отверстия, которое открывается и закрывается, не позволяет понять, о чем думает тень. Абдул Карим хочет спросить: кто ты? Зачем ты это делаешь? Конечно, он знает старую историю о том, как ангел Джабраил явился к пророку Мохаммеду однажды ночью и взял его в небесное путешествие, на экскурсию по небесам. Но тень не похожа на ангела; у нее нет лица, нет крыльев, ее пол неизвестен. И в любом случае, с чего ангелу Джабраилу тревожиться из-за скромного учителя математики в провинциальном городке, человека, не имеющего в мире ни малейшего значения?

Однако он здесь. Возможно, у Аллаха есть для него послание; в конце концов, Его пути неисповедимы. Абдул Карим видит все новые чудеса, и его переполняет ликование.

Наконец они повисают в желтом воздухе одного из миров. Испытывая головокружительное отсутствие силы тяжести, сопровождаемое внезапным приступом тошноты, который медленно отступает, вращаясь в воздухе, Абдул Карим замечает, что небеса не безлики, а покрыты изящной мозаикой: геометрические формы переплетаются, сливаются, из них рождаются новые. Меняются и цвета: желтый переходит в зеленый, сиреневый, розовато-лиловый. Внезапно в небе словно открываются бесчисленные глаза, один за другим, и, вращаясь, Абдул Карим видит, как мимо проносятся все другие вселенные. Огромный калейдоскоп, выходящий далеко за рамки его воображения. Он – в центре всего, в пространстве между пространствами, и всем своим существом ощущает низкую, прерывистую пульсацию, похожую на барабанный бой. *Бум, бум*, гудит барабан. *Бум, бум, бум.* Постепенно Абдул Карим понимает, что все, что он видит и чувствует, является частью колоссального узора.

В этот миг с ним случается озарение, которого он ждал всю свою жизнь.

Он так долго играл с трансцендентными числами, пытаясь понять идеи Кантора; в то же время его завораживали представления Римана о простых числах. В свободные минуты он размышлял, не связаны ли они на каком-то глубинном уровне. Несмотря на свою кажущуюся случайность, простые числа обладают регулярностью, на это намекает недоказанная гипотеза Римана. Теперь Абдул Карим наконец осознает, что если представить простые числа в виде области огромной страны, а реальность – в виде двумерной плоскости, пересекающей эту область на некоторой высоте над поверхностью, возможно, под углом, то, разумеется, все, что ты увидишь, покажется случайным. Макушки холмов. Кусочки долин. На виду будет лишь та часть области, которую пересечет твоя плоскость реальности. Не окинув взглядом весь ландшафт в его многомерном великолепии, не поймешь топографию.

Он видит его: видит голые кости творения, здесь, в этом месте, откуда отпочковываются все вселенные, в пульсирующем сердце метакосмоса. Обнаженный скелет мультивселенной удивительно ясен. Значит, именно это сумел заметить Кантор, эту колоссальную топографию. Понимание раскрывается в сознании Абдула Карима, словно с ним говорит сам метакосмос. Он видит, что из всех трансцендентных чисел лишь некоторые – бесконечное,

но не полное множество – отмечены как двери в другие вселенные, и каждая метка представляет собой простое число. Да. Да. Почему это так, что за глубинную симметрию это отражает, что за закон упорядоченности Природы, неведомый физикам его мира, он не знает.

Пространство, в котором живут простые числа – топология бесконечных вселенных, – сейчас он видит его. Ни одна жалкая функция, придуманная людьми, не в состоянии объять необъятность – неисчерпаемую красоту этого места. Абдул Карим осознает, что никогда не сможет описать его привычными математическими символами, что, даже постигнув истину гипотезы Римана, следствие этой более великой, более ясной реальности, он не сможет сесть и проверить ее традиционными методами. Ни один из существующих людских языков, математических или каких-либо других, не в состоянии изложить то, что, как подсказывает Абдулу Кариму интуиция, соответствует действительности. Быть может, он, Абдул Карим, разработает зачатки такого языка. Ведь показал же нам великий поэт Икбал небесное путешествие Пророка, чтобы и мы могли прикоснуться к небесам?

Поворот, дверь открывается. Он входит во двор своего дома. Оглядывается, но двор пуст. Фаришта ушла.

Абдул Карим поднимает глаза к небесам. В вышине несутся дождевые облака, темные, словно воспетые кудри возлюбленного; дерево личи танцует на ветру. Ветер заглушает звуки гибнущего города. Красный цветок перелетает стену и приземляется у ног Абдула Карима.

Волосы Абдула Карима трепещут на ветру, его переполняет невыразимый восторг, он чувствует дыхание Аллаха на своем лице.

Он говорит ветру:

– Господь Всемилостивый и Милосердный, я стою перед Твоей удивительной вселенной, преисполненный благоговения; помоги мне, слабому смертному, поднять взгляд над жалкой мелочностью повседневной суеты, драками и сварами убогого человечества… Помоги увидеть красоту Твоих Творений, от раскрывшегося цветка хлопкового дерева до изысканного математического изящества, с которым Ты сотворил бесчисленные вселенные, умещающиеся в человеческий шаг. Теперь я знаю, что мое предназначение в этом печальном мире – стоять в смиренном восхищении перед Твоим величием и возносить Тебе хвалы каждым своим дыханием…

От радости у него кружится голова. Листья вертятся по двору, словно безумные дервиши; капли дождя стирают уравнение, которое он нацарапал палочкой в пыли. Он давным-давно утратил шанс стать математическим гением; он никто, школьный учитель математики, ничтожней государственного клерка, однако Аллах одарил его этим великим прозрением. Быть может, теперь он достоин говорить с Рамануджаном, и Архимедом, и всеми прочими. Но он хочет лишь выбежать на улицу и промчаться по городу, крича: посмотрите, друзья, откройте глаза, чтобы увидеть то, что увидел я! Однако он знает, что его сочтут сумасшедшим; только Гангадхар сможет понять… если не математику, то порыв, важность открытия.

Он выбегает из дома на улицу.

Это тусклое сияние… запятнанный ночью рассвет –
Мы ждали не его…

Фаиз Ахмад Фаиз, пакистанский поэт (1911–1984)

Когда все сломано,
Когда каждая душа иссушена, каждый взгляд
Полон смятения, на каждом сердце
Лежит камень печали…

Мир ли это или хаос?

Сахир Лудхианви, индийский поэт (1921–1980)

Но что это?

Улица пустынна. Повсюду валяются битые бутылки. Окна и двери соседских домов выбиты и заколочены, словно закрытые глаза. Сквозь шум дождя Абдул Карим слышит далекие крики. Почему пахнет гарью?

Тут он вспоминает, что узнал у Гангадхара. Закрыв за собой дверь, бежит со всей скоростью, на которую способны его старческие ноги.

Рынок горит.

Дым струится из разбитых витрин магазинов, несмотря на дождь. Тротуар усыпан битым стеклом, посреди улицы валяется детская деревянная кукла без головы. Повсюду раскиданы отсыревшие страницы, исписанные аккуратными колонками цифр, – остатки гроссбуха. Абдул Карим быстро пересекает до рогу.

Дом Гангадхара лежит в руинах. Абдул Карим входит в распахнутые двери, невидящими глазами смотрит на почерневшие стены. Мебели почти не осталось. Лишь шахматный столик стоит, нетронутый, посреди гостиной.

Абдул Карим лихорадочно обыскивает дом, впервые заглядывает во внутренние комнаты. Даже занавески сорваны с окон. Здесь никого нет.

Он выбегает на улицу. Родственники жены Гангадхара – он не знает, где они живут. Как выяснить, все ли в порядке с Гангадхаром?

Соседний дом принадлежит семье мусульман, которых Абдул Карим иногда встречает в мечети. Он колотит в дверь. Ему кажется, что он слышит шорох изнутри, видит, как дергаются занавески наверху, – но никто не откликается на его исступленные мольбы. Наконец, с окровавленными руками, он понуро бредет домой, в ужасе озираясь. Неужели это действительно его город, его мир?

Аллах, Аллах, зачем ты меня оставил?

Он видел великолепие трудов Аллаха. Тогда к чему все это? Неужели все те вселенные, все те реальности были лишь сном?

Идет дождь.

Кто-то лежит лицом вниз в канаве. Дождь намочил рубашку на спине, смыл кровь. Абдул Карим сворачивает к человеку, гадая, кто это, жив он или мертв – он молод, это может быть как индус, так и мусульманин, – и замечает позади, у входа в переулок, толпу молодых людей. Возможно, среди них его ученики, они по могут.

Они движутся с хищной целеустремленностью, которая пугает Абдула Карима. Он видит палки и камни.

Они надвигаются, подобно цунами, подобно удару грома, сея смерть и разрушение. За шумом дождя он слышит их крики.

Отвага оставляет Абдула Карима. Он бежит к своему дому, входит, запирает дверь на замок и щеколду, захлопывает все окна. Проверяет мать – она спит. Телефон не работает. Дал на плите выкипел. Абдул Карим выключает газ и возвращается к двери, прикладывает к ней ухо. Он боится выглянуть в окно.

Сквозь шелест дождя он слышит, как мимо пробегают молодые люди. Слышит далекие вопли. Снова звук бегущих ног, потом остается только дождь. Подоспела ли полиция? Армия?

Что-то или кто-то скребется в дверь. Абдул Карим обмирает от ужаса. Стоит, пытаясь расслышать что-нибудь за шорохом дождевых капель. За дверью кто-то стонет.

Абдул Карим открывает дверь. Залитая дождем улица пуста. У его ног лежит тело молодой женщины.

Она открывает глаза. Она одета в рваные шаровары и рубаху, ее длинные волосы, мокрые от дождя и крови, облепили шею и плечи. На ее шароварах кровь, кровь струится из сотен мелких порезов и рубцов на коже.

Ее взгляд фокусируется.

– Господин учитель…

Он потрясен. Они знакомы? Может, она – его бывшая ученица?

Абдул Карим быстро наполовину вносит, наполовину втаскивает ее в дом и запирает дверь. Повозившись, осторожно укладывает женщину на диван в гостиной, который мгновенно покрывается кровавыми пятнами. Женщина кашляет.

– Дитя мое, кто это сделал? Позволь мне найти врача…

– Нет, – отвечает она. – Слишком поздно.

Она хрипит и снова кашляет. В темных глазах набухают слезы.

– Господин учитель, пожалуйста, позвольте мне умереть! Мой муж… мой сын… Они не должны видеть, как я умираю. Только не это. Они будут страдать. Захотят отомстить… Пожалуйста… перережьте мне запястья…

Она поднимает руки к его напуганному лицу, но он может лишь взять их в свои трясущиеся ладони.

– Дочь моя, – начинает он и умолкает. Как найти врача в этом хаосе? Удастся ли ему перевязать ее раны? Думая обо всем этом, он понимает, что жизнь покидает женщину. Кровь течет на диван, капает на пол. Ему не нужно перерезать ей запястья.

– Скажи, что за негодяи это сделали?

Она шепчет:

– Я их не знаю. Я лишь на секунду вышла из дома. Моя семья… не говорите им, господин учитель! Когда я умру, просто скажите… скажите, что я умерла в безопасном месте…

– Дочка, как зовут твоего мужа?

У нее огромные глаза. Она смотрит на него, не понимая, словно из другого мира.

Он не знает, мусульманка она или индуска. Если у нее на лбу и была алая точка, ее давным-давно смыл дождь.

Его мать стоит на пороге гостиной. Внезапно она громко кричит и бросается к умирающей женщине.

– Айша! Айша, жизнь моя!

Слезы струятся по лицу Абдула Карима. Он пытается оторвать мать от женщины. Пытается сказать: это не Айша, а другая жертва, чье тело мужчины превратили в свое поле битвы. В конце концов ему приходится взять мать на руки – она такая хрупкая, что он боится ее сломать, – и он уносит ее в постель, где она съеживается, всхлипывая и зовя Айшу.

Абдул Карим возвращается в гостиную, и взгляд молодой женщины обращается к нему. Она говорит едва слышным голосом, почти шепчет:

– Господин учитель, перережьте мне запястья… заклинаю вас, именем Всевышнего! Возьмите меня в безопасное место… Позвольте мне умереть…

Потом ее глаза вновь тускнеют, тело обмякает.

Для Абдула Карима время останавливается.

Затем он чувствует нечто знакомое и медленно поворачивается. Фаришта ждет.

Абдул Карим берет женщину на руки, неловко укутывает полуголое тело окровавленным диванным покрывалом. В воздухе открывается дверь. Спотыкаясь, преодолевая боль в коленях, он входит в дверь.

Через три вселенные находит подходящее место.

Здесь спокойно. Скала возвышается над бескрайним бирюзовым морем песка. Голубой песок лижет скалу с убаюкивающим шепотом. В чистом воздухе под высоким куполом неба

перекликаются крылатые создания, порхающие среди бесконечных лучей света. Здесь так ярко, что Абдул Карим прищуривается.

Он закрывает ее глаза и хоронит ее глубоко у подножия скалы, в текучем голубом песке. Потом стоит, тяжело дыша, с израненными руками, и думает: нужно что-то сказать. Но что? Он даже не знает, мусульманка она или индуска. Как она назвала Бога? Аллах, или Ишвара, или как-то еще?

Он не помнит.

В конце концов он читает Аль-Фатиху и, немного запинаясь, перечисляет то немногое, что помнит из индусских заповедей. Заканчивает словами: *Isha Vasyam Idam Sarvam*.

Слезы бегут по его щекам, падают в голубой песок и бесследно исчезают.

Фаришта ждет.

– Почему ты ничего не сделала! – набрасывается Абдул Карим на тень. Падает на колени в голубой песок и плачет. – Если ты действительно фаришта, почему ты не спасла мою сестру?

Теперь он понимает, что был глупцом: эта тень – не ангел, а он, Абдул Карим, – не Пророк.

Он плачет по Айше, по этой безымянной молодой женщине, по телу, которое видел в канаве, по своему утраченному другу Гангадхару.

Тень наклоняется к нему. Абдул Карим встает, в последний раз оглядывается и проходит в дверь.

Дверь ведет в гостиную. Первое, что он видит: его мать мертва. Она мирно лежит в постели, ее волосы струятся по подушке.

Ее лицо так спокойно, что она кажется спящей.

Он долго стоит рядом, не в силах плакать. Берет телефон – сигнала по-прежнему нет. Затем Абдул Карим тщательно вычищает гостиную, моет пол, снимает с дивана постельные принадлежности. Позже, когда дождь прекратится, он сожжет их во дворе. Кто заметит еще один костер в пылающем городе?

Закончив с уборкой, он ложится рядом с телом матери, словно маленький мальчик, и засыпает.

Брат мой, покинув меня, ты забрал
с собой книгу,
В которой записана история жизни моей…

Фаиз Ахмед Фаиз, пакистанский поэт (1911–1984)

Выглянуло солнце. В городе установился хрупкий мир. Похороны матери завершились. Родственники приехали и уехали; младший сын тоже приехал, но не стал задерживаться. Старший сын прислал из Америки открытку с соболезнованиями.

Дом Гангадхара – по-прежнему пустые, обугленные руины. Выбираясь на улицу, Абдул Карим расспрашивает о местонахождении своего друга. Согласно последним слухам, Гангадхар был дома один, когда явилась толпа, и соседи-мусульмане укрывали его, пока он не смог отправиться к жене и детям в дом родителей жены. Но прошло столько времени, что Абдул Карим уже не верит в это. Он также слышал, что Гангадхара выволокли на улицу и изрубили в куски, а тело сожгли. Город успокоился – пришлось вызвать армию, – но слухи так и бурлят. Пропали сотни людей. Отряды борцов за гражданские права прочесывают город, расспрашивают людей, разоблачают, в резких, злых заявлениях для прессы, халатность правительства штата, пособничество полиции в некоторых зверствах. Приходили они и к Абдулу Кариму, очень опрятные, очень молодые люди, пылающие идеализмом, пусть и неуместным,

но приятным. Абдул Карим ничего не сказал о молодой женщине, которая умерла у него на руках, но он каждый день молится за ее семью.

Он долго игнорировал тень за своим плечом. Но теперь понимает, что ощущение предательства пройдет. В конце концов, кто виноват в том, что он приписывал ангельские черты созданиям, которых когда-то называл фариштами? Да и по силам ли даже ангелам спасти людей от самих себя?

Эти создания следят за нами с детским любопытством, думает Абдул Карим, но не понимают нас. Точно так же, как их миры недоступны мне, наш мир недоступен им. Они – не слуги Аллаха.

Место, где отпочковываются вселенные – сердце метакосмоса, – теперь кажется ему далеким, похожим на сон. Он стыдится своего былого невежества. Как мог он одним взглядом постичь творение Аллаха? Ни один ограниченный разум не в состоянии за одну жалкую жизнь по-настоящему понять безграничность, великолепие Его замысла. Мы можем лишь увидеть кусочек правды здесь, кусочек там и вознести Ему хвалу.

Но в душе Абдула Карима столько боли, что он не может даже думать о том, чтобы записать хоть один слог из нового языка бесконечности. Во снах его преследуют ужасы, с которыми он столкнулся, образы матери и молодой женщины, которая умерла у него на руках. Он не может даже молиться. Кажется, Аллах все-таки его покинул.

Рутина повседневной жизни – проснуться, выполнить омовение, поставить на газовую плиту маленький чайник, чтобы вскипятить воду на одну чашку чая, выпить этот чай в одиночестве – невыносимая мысль! Продолжать жить, когда столько людей умерло, – продолжать жить без матери, без детей, без Гангадхара. Все кажется странно далеким: его собственное стареющее лицо в зеркале, ветхий дом, даже дерево личи во дворе. С детства знакомые улицы хранят воспоминания, которые больше не принадлежат ему. Снаружи скорбят соседи; старый господин Амин Кхан оплакивает внука; больше нет ни Рамдаса, ни Имрана. Ветер по-прежнему несет гарь пожарищ. Абдул Карим повсюду находит кучки пепла – в трещинах цемента во дворе, среди корней деревьев на улице. Он дышит мертвыми. Как вновь обрести свое сердце, как жить в мире, изувеченном болью? В этом мире нет места таким, как он. Нет места пахнущим хной рукам, которые укачивают ребенка; нет места старым женским пальцам, которые ухаживают за садом. И совсем нет места строгой красоте математики.

Абдул Карим думает обо всем этом, когда на землю перед ним падает тень. Он сидит у себя во дворе, бездумно рисуя математические выражения палочкой в пыли. Он не знает, держит ли нож его сын или разъяренный индус, но готов к смерти. Создания, столь долго присматривавшие за ним, увидят ее и удивятся. Их недоуменное присутствие успокаивает Абдула Карима.

Он оборачивается и встает. Это Гангадхар, его друг, который раскрыл пустые руки для объятия.

Слезы Абдула Карима капают на рубашку Гангадхара. Его окатывают волны облегчения, и он понимает, что на сей раз разминулся со Смертью, но она придет. Она придет, он видел. Архимед и Рамануджан, Хайям и Кантор умерли с откровением на губах, до которого нет дела равнодушному миру. Но этот момент вечен.

– Хвала Аллаху! – говорит Абдул Карим.

Чарльз Стросс

Чарльз Стросс родился в Лидсе, но большую часть своей взрослой жизни провел в Эдинбурге, Шотландия, в городе, богатом на современных научных фантастов – таких, как Иэн М. Бэнкс, Кен Маклеод, Ханну Райаниеми, – чьи работы выражают поразительно оригинальные взгляды на вызовы, с которыми сталкиваются люди, и на техносферу. Первое произведение Стросса, опубликованное в 1985 году, подчеркнуло его индивидуальность среди писателей двадцать первого века, рассказы которых представлены в этой книге. Однако настоящая слава пришла к нему в 2001 году, после публикации в журнале «Азимовз сайнс фикшн» рассказа «Лобстеры», впоследствии давшего начало роману «Accelerando» (2005), который «Энциклопедия НФ» назвала «лучшей на настоящий момент попыткой в НФ описать влияние сингулярности на жизнь человека». К тому времени Стросс также стал известным блогером – каковым и остается до сих пор. За последовавшие десять лет он превратился в одну из ключевых фигур в мире современной НФ, за свои рассказы дважды получал премии «Хьюго» и теперь является любимым писателем НФ целого поколения самоопределившихся представителей хакерского полусвета.

В рассказе «Бродячая ферма» (2003), действие которого происходит в ближайшем будущем, на фоне продолжающейся биотехнологической революции, раскрылись многие стороны таланта Стросса: насмешливость, изобретательность, способность думать о далеких последствиях близких перемен, не говоря уже – в лучших традициях сухих научно-фантастических метафор – о совершенно новом понимании термина «коллективное хозяйство».[3]

[3] © Charles Stross, 2013; © пер. К. Егоровой, 2016.

Бродячая ферма

Было ясное, прохладное мартовское утро; перистые облака тянулись с юго-востока к восходящему солнцу. Джо поежился на водительском сиденье и повернул рукоятку стартера старого фронтального погрузчика, который использовал для чистки хлева. Подобно своему владельцу, древний «Мэсси Фергюсон» знавал лучшие деньки, однако знавал и более тяжкую работу, нежели обычные задания Джо. Дизельный двигатель застучал, выплюнул клуб густого синего дыма и уныло зарокотал. С головой пустой, словно рассветное небо, Джо включил передачу, поднял передний ковш и начал поворачивать его к распахнутым дверям хлева – когда увидел на дороге бродячую ферму.

– Дерьмо, – выругался Джо.

Двигатель трактора зловеще заскрежетал и умолк. Джо снова посмотрел на дорогу широко распахнутыми глазами, потом слез с трактора и потрусил к кухонной двери в боковой части фермерского дома.

– Мэдди! – позвал он, забыв про рацию на своем свитере. – Мэдди! Сюда идет ферма!

– Джо? Это ты? Где ты? – донесся приглушенный голос из глубин дома.

– Где ты? – крикнул он в ответ.

– Я в ванной.

– Дерьмо, – вновь повторил он. – Если это та самая, что приходила в прошлом месяце…

Звук спускаемой в туалете воды пробился сквозь его тревогу. Затем раздался топот ног по лестнице, и в кухню ворвалась Мэдди.

– Где? – спросила она.

– Снаружи, в четверти мили по дороге.

– Ясно. – С всклокоченными волосами и злыми глазами – ее утреннее омовение было нарушено – Мэдди натянула поверх рубашки толстое зеленое пальто. – Ты уже открыл сервант?

– Я подумал, ты сначала захочешь с ней поговорить.

– Да уж, захочу! Если это та самая, что болталась в роще возле Эдгарова пруда, мне есть что с ней обсудить! – При виде ее гнева Джо покачал головой и отправился открывать сервант в задней комнате. – Достань дробовик и прогони ее с нашей земли! – крикнула Мэдди ему вслед. – Я выйду через минуту.

Джо кивнул самому себе, осторожно достал дробовик двенадцатого калибра и полный магазин. Контрольные индикаторы на дробовике беспорядочно мигали, но, судя по всему, батарея была заряжена. Джо перекинул оружие через плечо, аккуратно запер сервант и вернулся во двор, чтобы отпугнуть незваного гостя.

Гудя и пощелкивая, ферма сидела посреди дороги напротив «Амитидж-Энд». Держа дробовик под рукой, Джо настороженно оглядел ферму из-за деревянных ворот. Она была среднего размера, вероятно, с полудюжиной человеческих компонентов, – внушительный колхоз. Очевидно, ферма уже полностью перешла в режим бессознательного бродяжничества и утратила связи с людьми за пределами собственного коллективного сознания. Под жесткой черной кожей проглядывала внутренняя структура, макроскопления клеток, которые зловеще пульсировали и перетекали друг в друга. Хотя это был еще подросток, ферма уже достигла размеров древнего тяжелого танка и полностью перекрыла дорогу, словно некий апатозавр. От нее пахло дрожжами и бензином.

Джо испытал неприятное ощущение, будто ферма смотрит на него.

– Вот жопа, у меня нет на это времени, – пробормотал он. Стойла для клонированных паукоров, которые паслись на северном выгуле, по-прежнему были по колено в навозе, а сиденье трактора остывало, пока он торчал здесь, дожидаясь, чтобы Мэдди пришла и все

уладила. Стадо было маленьким, но большего земля и труд Джо не могли позволить; огромная биофабрика в сарае собирала домашний скот быстрее, чем Джо успевал кормить животных и продавать с честной биркой «выращены вручную».

– Чего тебе от нас нужно? – крикнул Джо тихо гудящей ферме.

– Мозги, свежие мозги для младенца Иисуса, – пропела ферма сочным контральто, напугав Джо до полусмерти. – Купите мои мозги!

Полдесятка жутковатых образований, похожих на цветную капусту, непристойно выросли на спине фермы, а затем стыдливо скрылись.

– Нам тут мозги ни к чему, – упрямо сказал Джо, крепко стискивая приклад дробовика. – И такие, как ты, тоже. Уходи.

– Я девятиногий полуавтоматический шпунтовальный станок! – пропела ферма. – Я направляюсь на Юпитер с миссией любви! Купите мои мозги!

Из верхнего ската фермы высунулись три любопытных глаза на стебельках.

– Э-э…

Прибытие Мэдди спасло Джо от необходимости придумывать новые способы сказать «отвали». Двадцать лет назад, закончив работу по поддержанию мира в Месопотамии, Мэдди умудрилась утащить домой свой старый боевой костюм; более того, ей удалось сохранить форму и втиснуться в него теперь. Левое колено зловеще скрипело при ходьбе – хотя Мэдди нечасто разгуливала в таком облачении, – однако костюм по-прежнему справлялся со своей главной задачей по устрашению злоумышленников.

– Ты. – Мэдди воздела полупрозрачную руку, ткнула пальцем в ферму. – Убирайся с моей земли. Немедленно.

Уловив намек, Джо поднял дробовик и включил полностью автоматический режим. С аппаратурой на плечах Мэдди ему не сравниться, но он внесет посильную лепту.

Ферма заухала и жалобно спросила:

– Почему вы меня не любите?

– Убирайся с моей земли! – рявкнула Мэдди столь громким голосом, что Джо поморщился. – Десять секунд! Девять! Восемь!

Тонкие кольца выскочили по бокам ее рук, скрипя от долгого неиспользования: это включилась пушка Гаусса.

– Я ухожу! Ухожу! – Ферма приподнялась, сместилась назад. – Не понимаю. Я лишь хочу освободить вас, чтобы вы могли исследовать Вселенную. Никто не хочет покупать у меня свежие фрукты и мозги. Что стряслось с миром?

Они подождали, пока ферма скроется за поворотом на вершине холма. Мэдди расслабилась первой, кольца вновь скрылись в руках боевого костюма, который при выключении из неземного полупрозрачного стал нейтральным оливковым. Джо поставил дробовик на предохранитель.

– Скотина, – сказал он. – Херово.

Мэдди словно осунулась.

– Смелый экземпляр.

Джо заметил, что ее лицо побледнело и казалось измученным. Она стиснула кулаки. У нее шок, и неудивительно. Сегодня их снова ждет кошмарная ночка.

– Забор, – напомнил он.

За прошедший год они вновь и вновь обсуждали, не подключить ли внешний контур к их маленькому метановому генератору.

– Может быть. Может быть. – Мэдди не нравилась идея поджаривать прохожих без предупреждения, но если что-то и могло ее убедить, так это перспектива подвергнуться набегу бродячих ферм. – Помоги мне выбраться из этого, и я приготовлю завтрак.

– Мне нужно вычистить хлев, – запротестовал Джо.

– Это подождет до завтрака, – ответила Мэдди дрожащим голосом. – Ты мне нужен.

– Ладно, – кивнул Джо.

Она выглядела паршиво; с последнего фатального срыва прошло несколько лет, но когда Мэдди говорила: «Ты мне нужен», – не следовало ее игнорировать. Иначе придется надрываться на биофабрике и загружать резервные записи в новое тело – занятие не из приятных. Джо взял Мэдди за руку и повел к заднему крыльцу. Они почти дошли, когда он замер.

– Что? – спросила Мэдди.

– Я давно не видел Боба, – медленно ответил Джо. – Отправил его загнать коров на северный выгул после дойки. Ты не думаешь?..

– Можем проверить из диспетчерской, – устало сказала Мэдди. – Ты действительно боишься, что?..

– Когда поблизости бродит эта тварь? А ты как думаешь?

– Он хороший служебный пес, – с сомнением заметила Мэдди. – С ним ничего не случится. Просто отправь ему сообщение.

* * *

После того как Джо помог Мэдди выбраться из боевого костюма – и после того как она потратила много времени на то, чтобы успокоиться, – они позавтракали яйцами собственных несушек, домашним сыром и поджаренным хлебом из пшеницы, которую выращивала коммуна хиппи на той стороне долины. Кухня с каменным полом в ветхом доме, обжитом и перестроенном Джо с Мэдди за последние двадцать лет, была теплой и уютной. За пределами долины они покупали только кофейные бобы стойкого сорта «Джей-эм», который беспорядочно рос по всем камбрийским холмам, словно борода подростка. За завтраком они в основном молчали: Джо – потому что не любил болтать, Мэдди – потому что ничего не хотела обсуждать. Молчание сдерживало ее личных демонов. Они знали друг друга много лет, и даже если говорить было не о чем, могли справиться с тишиной. Голосовое радио на подоконнике напротив чугунной печи тоже молчало, равно как и телевизор на стене рядом с холодильником. Завтрак был временем тишины.

– Пес не отвечает, – заметил Джо, допивая кофе.

– Он хороший пес. – Мэдди неуверенно посмотрела на дворовые ворота. – Ты боишься, что он убежит на Юпитер?

– Он был со мной в сарае. – Джо отнес свою тарелку в раковину, включил горячую воду. – Прочистив контуры, я велел ему отвести стадо на выгул, пока я вожусь с хлевом.

Он поднял глаза, встревоженно посмотрел в окно. «Мэсси Фергюсон» стоял прямо перед открытыми дверями хлева, словно сдерживая гору навоза, соломы и силоса, пережиток морозной зимы, высившийся внутри, подобно пахучему захватчику.

Мэдди мягко отодвинула Джо и взяла одну из раций, заряжавшихся на подоконнике. Рация запищала и захрипела.

– Боб, прием. – Мэдди нахмурилась. – Может, он снова потерял свою гарнитуру.

Джо поставил влажные тарелки на сушку.

– Я займусь кучей. Хочешь поискать его?

– Поищу. – Нахмуренные брови Мэдди сулили псу суровый выговор. Который не произведет на Боба ни малейшего впечатления: слова скатывались с него, словно с гуся вода. – Но сначала камеры. – Она включила старый телевизор, и на экране возникли зернистые картинки: сад, двор, голландский амбар, северный выгул, восточный выгул, главное поле, роща. – Хм-м.

Она все еще возилась с приусадебной системой слежения, когда Джо снова вскарабкался на водительское сиденье трактора и снова завел его. На этот раз двигатель не кашлял

дымом. Джо выгребал навоз из хлева и складывал в трехметровую кучу, по четверти тонны за раз, пока не сумел забыть утреннего незваного гостя. Почти.

К полудню куча испускала характерное зловоние, и над ней гудели мухи, а хлев стал достаточно чистым, чтобы взяться за шланг и щетку. Джо собирался начать перетаскивать навозную кучу к бродильным резервуарам, закопанным за дальним углом дома, когда увидел на дорожке возвращавшуюся Мэдди. Мэдди качала головой. Джо сразу понял, в чем дело.

– Боб, – сказал он.

– С Бобом все в порядке. Он стережет коз. – На лице Мэдди было странное выражение. – Но эта ферма…

– Где? – спросил он, спеша за ней.

– Уселась в лесу возле ручья, – кратко ответила она. – Прямо за нашим забором.

– Но не на нашей территории.

– Она выпустила питающие корни! Ты понимаешь, что это значит?

– Не… – Лицо Джо сморщилось от изумления. – О!

– Именно. О. – Мэдди оглянулась на хозяйственные строения между домом и лесом в нижней части их небольшого земельного участка. Если бы взгляд мог убивать, нарушитель давно бы скончался в страшных мучениях. – Она собирается летовать здесь, Джо, а потом достичь зрелости на нашем участке. Ты помнишь, куда она, по ее словам, собирается, когда вырастет? На Юпитер!

– Дерьмо, – едва слышно отозвался Джо: он начал осознавать тяжесть ситуации. – Нужно быстро с ней покончить.

– Я имела в виду не это, – возразила Мэдди, но Джо уже направлялся к двери.

Мэдди смотрела, как он пересекает двор, затем покачала головой.

– Почему я здесь торчу? – спросила она, однако плита не ответила.

* * *

Деревушка Аутер-Чезвик была в четырех километрах от «Амитидж-Энд» – четырех километрах дороги, пролегавших мимо брошенных домов и сломанных амбаров, заросших сорняками полей и поврежденных деревьями стен. Первая половина двадцать первого века выдалась для британского сельского хозяйства суровой – очень суровой, если учесть снижение численности населения и вытекающий из этого избыток жилья. В результате безработные сороковых и пятидесятых могли выбрать себе выпотрошенную оболочку когда-то крепкого фермерского дома. Выбирали лучшие и вселялись, обустраивались в ветхих зданиях, засевали поля, растили скот и учились делать все своими руками, пока поколение спустя вдоль заброшенных дорог, по которым больше не ездили машины, не выросли кирпичные особняки, достойные аристократа. Точнее, это произошло бы поколение спустя, если бы имелись дети, жизнями которых можно бы было измерять время. Однако шли последние десятилетия популяционного провала, и пары, которые в прошлом веке считались бы странными отщепенцами, сейчас составляли большинство и по численности намного превосходили размножающиеся колонии. В этом аспекте жизни Джо и Мэдди были скучными консерваторами. В прочих – нет. Кошмары Мэдди, ее отвращение к алкоголю и социопатия являлись пережитками службы в Мирных силах. Что касается Джо, ему здесь нравилось. Он ненавидел города, ненавидел Сеть, ненавидел все новое. Любил тихое существование…

Паб «Поросенок и хрен» на окраине Аутер-Чезвик был единственным в радиусе десяти километров – и определенно единственным, откуда мог доплестись домой подвыпивший Джо. Само собой, «Поросенок и хрен» являлся бурлящим котлом местных слухов, не в последнюю очередь из-за того, что Старуха Бренда отказывалась провести туда электричество, не говоря уже о радио. (Дело было не в глупой технофобии, а в том, что в прошлой

жизни Бренда работала хакером-штурмовиком в Европейских объединенных вооруженных силах.)

Джо подошел к бару.

– Пинту горького? – неуверенно спросил он.

Бренда посмотрела на него, кивнула и продолжила загружать древнюю посудомоечную машину. Затем взяла с полки чистую кружку и подставила под кран.

– Слышала, у вас проблемы с фермой, – неопределенно сообщила она, работая ручным насосом.

– Угу. – Джо смотрел на кружку. – А где ты это слышала?

– Не твое дело. – Она опустила кружку, чтобы дать отстояться пене. – Тебе стоит побеседовать с Артуром и Венди-Крыской насчет ферм. У них в прошлом году была одна.

– Понял. – Джо взял свою пинту. – Спасибо, Бренда. Как обычно?

– Ага.

Бренда вновь повернулась к посудомоечной машине. Джо пошел в дальний угол, где друг напротив друга, по обе стороны холодного очага, стояли два огромных кожаных дивана, подлокотники и спинки которых носили шрамы от когтей множества поколений полудиких кошек Бренды.

– Арт, Крыска. Как дела?

– Спасибо, неплохо.

Венди-Крыске было хорошо за семьдесят, она принадлежала к числу стариков, которые подправили ген *p53* в своих хромосомах и превратились в усохшую вечность: белые дреды, остатки носа и ушей вокруг отверстий в черепе, кожа словно ветер пустыни. Арт был ее мальчиком – ее игрушкой, прежде чем средний возраст запустил в него зубы. Он свои гены не трогал, а потому выглядел старше нее. Вместе они вели небольшое хозяйство, в основном разводили кур на вакцину, а кроме того, успешно торговали высоконитратным удобрением: переговоры о покупке этого удобрения проходили приватно, а вывозили его мешками при лунном свете.

– Слышала, у тебя проблемы?

– Верно. – Джо сделал осторожный глоток. – М-м, хорошо. У вас были неприятности с фермой?

– Может быть. – Венди вопросительно смотрела на него, прищурив глаза. – О каких неприятностях речь?

– Колхоз. Говорит, собирается на Юпитер. Сволочь обосновалась в лесу у ручья Старого Джека. Вы только подумайте… Юпитер!

– Верно, это одно из направлений, – с умным видом кивнул Арт, как будто что-то знал.

– Да-а, дело дрянь. – Венди-Крыска нахмурилась. – Ты в курсе, она растит деревья?

– Деревья? – Джо покачал головой. – По правде сказать, не ходил и не проверял. Какого хрена люди такое с собой делают?

– А тебе не насрать? – Венди широко ухмыльнулась. – Себя они людьми уже не считают, лично я так думаю.

– Она пыталась нас уболтать, – сказал Джо.

– Верно, они это любят. – Артур многозначительно кивнул. – Я читал, они не считают нас полноценными людьми. Типа, из-за одежды и машин. Мы вроде как цепляемся за допостиндустриальный образ жизни, вместо того чтобы улучшить свой геном и питаться дарами земли, как хотел Господь.

– Как тварь с девятью ногами и глазами на стебельках может считать себя человеком? – поинтересовался Джо и наполовину опустошил кружку одним гневным глотком.

– Когда-то она была человеком. Или несколькими людьми. – В глазах у Венди появилось странное, ведьмовское выражение. – Лет тридцать-сорок назад у меня был приятель,

который вступил в ламарковскую кладу. Они меняли гены, как мы с тобой – нижнее белье. Он был защитником окружающей среды в те времена, когда антиглобалисты думали, что большие корпорации плюют на нас ради прибыли. По-крупному занялся генным хакерством и самодостаточностью. Я дала ему пинка под зад, когда он позеленел и начал фотосинтезировать.

– Ублюдки, – пробормотал Джо. Темно-зеленые[4] в начале века уничтожили сельскохозяйственно-промышленный комплекс, превратив сельскую местность в разоренные, бесплодные пустоши. Мало того, что они лишили миллионы сельских жителей работы, так еще и позеленели, отрастили лишние конечности и переселились на орбиту Юпитера. И при этом, судя по всему, отлично провели время. – Так у вас были проблемы с фермой? Пару лет назад?

– Были, ага, – отозвался Арт, вцепившись в свою кружку.

– Фермы больше нет, – вслух рассуждал Джо.

– Ну да. – Венди настороженно смотрела на него.

– Никаких фейерверков. – Джо поймал ее взгляд. – И тела тоже нет. Хм.

– Метаболизм, – сказала Венди, очевидно, приняв некое решение. – Вот в чем суть.

– Мята… – Джо, не любитель биологии, раздраженно покатал непривычное слово во рту. – В прежние времена я занимался программами, Крыска. Придется тебе растолковать свой жаргон.

– Ты когда-нибудь задумывался над тем, как эти фермы добираются до Юпитера? – поинтересовалась Венди.

– Ну… – Джо покачал головой. – Они вроде как отращивают ступенчатые деревья? Как в ракетах? А потом летуют, и если делают это по соседству, тебе крышка, потому что, взлетая, эти деревья поджаривают сотню гектар?

– Очень хорошо, – веско произнесла Венди. Взяла кружку обеими руками и принялась покусывать край, косясь по сторонам, словно высматривая полицейских москитов. – Давайка прогуляемся.

Задержавшись у стойки, чтобы Старуха Бренда налила ей еще пива, Венди вывела Джо на улицу, мимо Модницы Берке – в доисторических зеленых «веллингтонах» и куртке «Барбур» – и ее последней женщины, туда, где раньше находилась парковка, а теперь – захламленный клочок земли позади паба. Было темно, световые загрязнения не марали небеса: над головой сиял Млечный Путь, а в нем – красное облако спутников размером с горошину, за последние несколько лет постепенно поглотившее Юпитер.

– Ты в Сети?

– Нет, а что?

Венди достала коробочку размером с кулак, нажала кнопку на ее боку, дождалась, пока индикатор мигнет зеленым, и кивнула.

– Гребаные жучки.

– Это ведь…

– Не спрашивай – и не услышишь вранья, – ухмыльнулась она.

– Угу. – Джо глубоко вдохнул; он догадывался, что у Венди имеются сомнительные связи, и эта штука – переносной генератор помех – подтверждала его догадки: полицейские жучки в радиусе двух-трех метров ослепли и оглохли и не смогут передать их разговор выискивающим ключевые слова полуразумным копам, в чьи задачи входило предотвращать преступления до их совершения. Это был пережиток Эры Интернета, когда резвые законодатели

[4] Темно-зеленое сопротивление (Deep Green Resistance) – движение за охрану окружающей среды, возникшее в 2011 г. и направленное на активную борьбу с индустриальной цивилизацией.

случайно уничтожили право на свободу слова на публике, потребовав поголовного мониторинга ключевых слов в радиусе действия сетевого терминала. Крючкотворы и помыслить не могли, что через пару десятков лет «сетевые терминалы» превратятся в самовоспроизводящихся ботов размеров с блоху, которые будут повсюду, словно грязь. (Сама Сеть рухнула под весом самовоспроизводящихся вирусных исков о клевете, однако наследие публичной слежки сохранилось.) – Ладно. Расскажи мне о метал… мета…

– Метаболизме. – Венди зашагала к раскинувшемуся за пабом полю. – И ступенчатых деревьях. Древесные ступени сначала были научной фантастикой. Их придумал какой-то парень по имени Нивен. Идея в том, что ты берешь сосну и хакаешь ее. В сердцевине, в ксилеме, есть сосуды, в нормальном дереве они древеснеют и умирают. Ступенчатые деревья поступают умнее: перед смертью клеток они нитруют целлюлозу клеточных стенок. Для этого требуется херова туча хакнутых ферментов. И энергия, больше, чем нормальное дерево может себе позволить. Короче, к тому времени как дерево погибает, оно на девяносто процентов состоит из нитроцеллюлозы, плюс встроенные элементы жесткости, и дефлекторы, и микроструктура. Но это не огромная бомба – дерево взрывается клетка за клеткой, а в некоторых сосудах ксилемы ферма выращивает особые хакнутые грибные гифы с деполяризующейся мембраной, взятой из человеческих аксонов, чтобы запускать реакцию. Эффективность у этой штуки – как у древних ракет «Ариан» или «Атлас». Не слишком высокая, но приемлемая.

– Э-э. – Джо моргнул. – Это должно что-то для меня значить?

– Черт бы тебя побрал, Джо. – Венди покачала головой. – Думаешь, я бы стала зазря так распинаться?

– Ладно. – Он серьезно кивнул. – Что я могу сделать?

– Итак. – Венди остановилась и посмотрела на небо. Высоко над головой призрачный пояс переливался крошечными огоньками – темно-зеленый караван в своем орбитальном трансферном окне, самодостаточные сверхчеловеческие ламарковские колонисты, адаптировавшиеся к космосу, на долгом, медленном пути к Юпи теру.

– Итак? – Джо ждал.

– Ты гадаешь, откуда берется удобрение, – невпопад сказала Венди.

– Удобрение. – На секунду в его мыслях воцарилась пустота.

– Нитраты.

Он опустил глаза, увидел ее ухмылку. Великолепный пятый набор зубов зловеще светился, отражая зеленоватый свет индикатора на генераторе помех.

– Вот именно, – сказала она и выключила генератор.

* * *

Когда в предрассветные часы Джо наконец добрел до дома, слабая струйка дыма вилась над конурой Боба. Джо помедлил перед кухонной дверью, встревоженно принюхался, потом расслабился. Выпустил дверную ручку, подошел к конуре и сел рядом. Боб очень трепетно относился к своему логову: даже его собственные люди не допускались внутрь без приглашения. Поэтому Джо ждал.

Мгновение спустя изнутри донесся вопросительный кашель. Темная заостренная морда высунулась наружу, пуская дым из ноздрей, словно коварный дракон.

– Р-р-р-р-р?

– Прошу прощения.

– Ур-р-р. – Металлическое звяканье. – Дым, добрый дым, смешно кашлять, забавно щекотать, арфарф?

– Пожалуй, не откажусь.

Морда скрылась в конуре; секунду спустя появилась вновь, сжимая в зубах шланг с мундштуком на конце. Джо вежливо принял его, вытер мундштук, прислонился к стене конуры и вдохнул. Трава оказалась крепкой и мягкой; неприятный диалог в его голове стих за считаные мгновения.

– Просто замечательно.

– Арф-арф-ай-яп.

Джо почувствовал, как расслабляется. Мэдди наверху, тихо похрапывает в их старой постели, может быть, ждет его. Однако иногда мужчине необходимо побыть наедине со своей собакой и хорошим косяком, занимаясь тем, чем занимаются только мужчины и собаки. Мэдди понимала это и не вмешивалась. И все же…

– Эта ферма так и ошивается возле пруда?

– Р-р-р, чер-рт, чер-рт, да! Тр-рахать овец.

– Если она лезла к нашим овцам…

– Нет, вр-р-р-р. Чер-р-р-рт.

– Тогда в чем дело?

– Гр-р-р-р, Мэдди, гав-гав, ферма говорить! Тр-ра-хать овец.

– Мэдди говорила с ней?

– Гр-р-р, да, да!

– Вот дерьмо. Ты не помнишь, когда она в последний раз делала резервную копию?

Пес выкашлял облачко ароматного синего дыма.

– Бак, бах-бах, полный, корова, му-у, говяжий клон.

– Точно, я тоже так думаю. Лучше вычистить его завтра. На всякий случай.

– У-я-р-р-р.

И пока Джек гадал, было ли это согласием или просто собачьей отрыжкой, худая лапа вынырнула из будки и затащила кальян внутрь. Последовавшие хлюпающие звуки и облака ароматного синего дыма вызвали у Джо легкую тошноту, поэтому он отправился в дом.

* * *

На следующее утро, за завтраком, Мэдди была тише обычного. Почти задумчивой.

– Боб сказал, ты говорила с той фермой, – заметил Джо, поглощая яйца.

– Боб… – Лицо Мэдди казалось непроницаемым. – Проклятый пес. – Она сняла крышку с электроплитки «Рэйберн» и уставилась на подрумянивавшийся внутри тост. – Слишком много болтает.

– Это правда?

– Ага.

Она перевернула тост и закрыла крышку.

– Много сказала?

– Это ферма. – Мэдди выглянула в окно. – Кроме стартового окна на Юпитер, ее ничего не волнует.

– Она…

– Она. Он. Они. – Мэдди тяжело опустилась на кухонный стул. – Это колхоз. Их было шесть человек. Старые, молодые, они решили отправиться на Юпитер. Одна из них рассказала мне, как это произошло. Она была бухгалтером в Брэдфорде, у нее случился нервный срыв. Она хотела на волю. Хотела быть самодостаточной. – На мгновение ее лицо стало тоскливым. – Чувствовала, что стареет, но не растет, если ты меня понимаешь.

– И что, став биоборгом, она решила все свои проблемы? – Джо усмехнулся и подцепил вилкой остатки яичницы-болтуньи.

– Они по-прежнему разные люди. Телам придают слишком большое значение. Подумай о преимуществах: ты не постареешь, ты сможешь отправиться куда угодно и пережить что угодно – и ты никогда не останешься один, не попадешь в ловушку. – Мэдди принюхалась. – Чертов тост горит!

Из-под крышки электроплитки сочился дымок. Мэдди выхватила из плитки решетку и швырнула ее в раковину. Дождалась, пока на поверхность всплывут набухшие черные крошки, потом вытащила решетку, раскрыла и загрузила новую порцию хлеба.

– Твою мать, – сказала она.

– Ты чувствуешь себя в ловушке? – спросил Джо. – Снова? Быть не может.

Мэдди уклончиво хмыкнула.

– Ты не виноват, дорогой. Такова жизнь.

– Жизнь. – Джо принюхался и громко чихнул: едкий дым щекотал нос. – Жизнь!

– Горизонт смыкается, – тихо сказала она. – Нужны перемены.

– Что ж, ладно, ржавчина никогда не спит, верно? Нужно вычистить зимние стойла, – сообщил Джо. Направляясь к двери, неуверенно улыбнулся Мэдди. – Скоро привезут удобрение.

* * *

С учетом доек, задачи корма овцам, выгребания навоза из зимних стойл и тайного глушения и отправки в силиконовую загробную жизнь всех полицейских ботов на ферме Джо потребовалось несколько дней, чтобы добраться до домашней фабрики. Жужжа и щелкая, словно слабоумная вязальная машина, фабрика изготовила заказанные устройства: модифицированный полевой опрыскиватель, резервуары и шланги которого имели двойные стенки; пневматическое ружье с дротиком, заряженным мощной смесью тубокурарина и эторфина; респиратор с кислородным баллоном.

Мэдди почти не было видно; она возилась в диспетчерской, а в светлые часы исчезала, возвращаясь в дом лишь после наступления темноты, чтобы устало забраться в постель. Похоже, кошмары ее не мучили, и это был добрый знак. Джо помалкивал.

Потребовалось еще пять дней, чтобы фермерский генератор накопил достаточно энергии и начал заряжать смертоносное оружие. На этот период Джо отключил дом от Сети под крайне сомнительным, но странно правдоподобным предлогом: сказал, что во всем следует винить перегрызенный белками кабель и плохо экранированный генератор переменного тока на экскаваторе. Он думал, Мэдди будет жаловаться, но она промолчала и лишь стала проводить еще больше времени в Аутер-Чезвик, или Лоуэр-Грантлингторп, или куда она там ходила.

В конце концов бак наполнился. Джо препоясал чресла, надел доспехи, взял оружие и отправился бросать вызов дракону у пруда. Лесок вокруг пруда когда-то окружал деревянный заборчик; это была прелестная рощица из старых лиственных деревьев, вязов, дубов и буков на вершине холма. У их подножия теснилась низкая поросль, раскинувшаяся зеленым покрывалом до самой стоячей воды. Небольшой ручеек питал пруд во время дождливых месяцев, журча под корнями плакучей ивы. Дети играли здесь в отважных исследователей пустошей под благосклонным взглядом родительских камер слежения.

Все это было давным-давно. Теперь леса по-настоящему одичали. Ни детей, ни отдыхающих горожан, ни машин. Барсуки, и нутрии, и перепуганные крошечные валлаби бродили по иссушенной английской сельской местности в летние месяцы. Вода отступала, обнажая потрескавшуюся грязь, усеянную старыми жестяными банками, среди которых валялась тележка из супермаркета докембрийского периода, лишившаяся своего GPS-датчика. Кости

технологической эпохи торчали из предательской ископаемой грязевой ванны. А по краю склизкой лужицы росли ступенчатые деревья.

Джо включил генератор помех и зашагал среди стреловидных хвойных деревьев. Их иголки были матово-черными и пушистыми, фрактально разделенными по краям, чтобы лучше впитывать весь доступный свет; землю густо покрывала сеть стержневых корней и лохматых черных «травинок». Джо слышал свист собственного дыхания; потея в воздухонепроницаемом костюме, он разбрызгивал бесцветную дымящуюся жидкость у каждого баллистического ствола. Жидкость шипела и испарялась; соприкасаясь с ней, древесина словно обесцвечивалась. Джо старался держаться подальше от струи: эта штука его нервировала. Как и деревья, однако жидкий азот был, на его взгляд, единственной вещью, способной прикончить их, не воспламенив. В конце концов, их сердцевины состояли практически из чистой нитроцеллюлозы – крайне горючей, склонной взрываться при резком ударе или трении о цепь бензопилы. Джо стукнул дерево, оно зловеще затрещало, угрожая повалиться набок. Джо обошел его, деловито обрызгав выступающие корни, – и оказался прямо перед обезумевшей фермой.

– Мой райский сад земных наслаждений! Мой лес воображаемого будущего! Радость моя, мои деревья, мои деревья! – Стебельчатые глаза метались, в ужасе моргая, ферма приподнялась на шести или семи ногах, хватая оставшимися воздух. – Убийца саженцев! Насильник Матери-Земли! Душитель пушистых кроликов! Вивисектор!

– Отойди, – приказал Джо, роняя криогенный опрыскиватель и хватаясь за пневматическое ружье.

Ферма тяжело рухнула на землю и выставила глаза с обеих сторон, уставившись на Джо. Глаза моргали, длинные черные ресницы трепетали над голубыми радужками.

– Как ты посмел? – спросила ферма. – Мои драгоценные саженцы!

– Заткни пасть, – проворчал Джо, вскидывая ружье. – Думаешь, я позволю тебе спалить мое жилище при запуске? Не двигайся, – добавил он, когда из спины фермы вытянулось щупальце.

– Мой урожай, – тихо простонала ферма. – Мое изгнание! Еще шесть лет вокруг Солнца, прикованной к этому источнику скорбной гравитации, прежде чем откроется следующее окно! Никаких мозгов для младенца Иисуса! Инквизитор! Мы могли быть так счастливы вместе, если бы не ты! Кто подговорил тебя на это? Крысиная Леди?

Ферма подобралась, под кожистой мантией у основания ног взбугрились мускулы.

Поэтому Джо пристрелил ее.

Тубокурарин – мышечный релаксант; он парализует скелетную мускулатуру, посредством которой человеческая нервная система осуществляет сознательный контроль над телом. Эторфин – крайне сильный опиат, в двенадцать сотен раз сильнее героина. Со временем ферма, с ее инопланетным адаптивным метаболизмом и сознательно контролируемым протеомом, могла бы изобрести защиту от эторфина, однако количества, которым Джо зарядил дротик, хватило бы для голубого кита, и он не собирался ждать.

Ферма содрогнулась и упала на одно колено. Джо подошел ближе, держа ружье наготове.

– Почему? – спросила она жалобным голосом, и он почти пожалел, что выстрелил. – Мы могли отправиться туда вместе!

– Вместе? – переспросил Джо.

Стебельчатые глаза поникли, огромные легкие надрывно засвистели, когда ферма попыталась ответить.

– Я собиралась позвать тебя, – сказала она, и половина ее ног подогнулась. Грохот был подобен крошечному землетрясению. – Джо, если бы только…

– Джо? Мэдди? – Ружье выпало из онемевших пальцев.

На передней стороне фермы возник рот, казавшиеся знакомыми губы выговаривали неразборчивые слова о Юпитере и обещаниях. Потрясенный Джо попятился. Возле первого мертвого дерева уронил бак с жидким азотом. Потом смутный импульс заставил его развернуться и бежать, бежать к дому, ничего не видя от заливавшего глаза пота или слез. Но он двигался слишком медленно и когда, сжимая в руках щелкающую и жужжащую фармакопею, рухнул на колени возле фермы, та уже умерла.

– Твою мать, – сказал Джо, поднимаясь и качая головой. – Твою мать. – Он включил рацию. – Боб, прием. Боб!

– Р-р-р-роу?

– У мамы очередной срыв. Ты вычистил бак, как я просил?

– Гав!

– Хорошо. Ее резервные копии лежат в сейфе в кабинете. Давай разогреем бак, а потом подгоним трактор, чтобы убрать всю эту грязь.

* * *

Той осенью трава на северном выгуле «Амитидж-Энд» была особенно густой и зеленой.

Паоло Бачигалупи

Паоло Бачигалупи родился в Колорадо, где и живет по сей день. Свое первое научно-фантастическое произведение он продал в 1999 году – и за последовавшие десять лет стал одним из наиболее влиятельных авторов жанра. Его роман «Заводная» (2009) получил премии «Хьюго» и «Небьюла», а также Мемориальную премию Джона В. Кэмпбелла и попал в список десяти лучших книг года по версии «Таймс». Опубликованный в следующем году научно-фантастический роман для подростков «Разрушитель кораблей» был награжден премией Майкла Л. Принтца за лучший роман для подростков и был включен в число финалистов, претендовавших на Национальную книжную премию. В большинстве работ Бачигалупи действие разворачивается в не слишком далеком будущем, где человечество сражается с последствиями катастрофического изменения климата и конца западного мирового господства.

Рассказ «Игрок» (2008) позволяет взглянуть на весьма вероятное унылое будущее нашей «новостной» индустрии и рисует трогательный образ мышления и писательства, которому в этом будущем нет места.[5]

[5] © Paolo Bacigalupi, 2013; © пер. К. Егоровой, 2016.

Игрок

Мой отец был игроком. Он верил в карму и удачу. Охотился за счастливыми номерными знаками, покупал лотерейные билеты, делал ставки на петушиных боях. Оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, отец не был большим человеком, но когда он брал меня на тайский бокс, я считал его великим. Он делал ставки, и выигрывал, и смеялся, и пил лаолао со своими друзьями, и все они казались мне огромными. Когда Вьентьян плавился от жары, отец, словно призрак удачи, шагал по мерцавшим в темноте улицам.

Для отца вся жизнь была игрой: рулетка и блек-джек, новые сорта риса и приход сезона дождей. Когда король-самозванец Кхамсинг провозгласил создание Нового Королевства Лао, отец сделал ставку на гражданское неповиновение. Он поставил на учения Генри Дэвида Торо и листовки на фонарных столбах. Поставил на протестные марши монахов в шафрановых балахонах и скрытую человечность солдат с их мощными «АК-47» и зеркальными шлемами.

Мой отец был игроком – в отличие от матери. Пока он писал письма в газеты, приглашая к нашему порогу тайную полицию, она разрабатывала план бегства. Старая Лаосская Народно-Демократическая Республика рухнула, и на ее месте расцвело Новое Королевство Лао, где танки ездили по улицам, на углах которых пылали моторикши. Блистательный золотой Пха Тхатлуанг рухнул под градом пуль, и я отбыл на эвакуационном вертолете ООН, под присмотром доброй миссис Ямагучи.

Сквозь открытые двери вертолета мы смотрели на столбы дыма, которые поднимались над городом, словно змееподобные наги. Мы пересекли коричневую ленту Меконга, перепоясанную сверкающим Мостом дружбы, на котором горели автомобили. Я помню «Мерседес», покачивавшийся на волнах, словно бумажная лодочка на празднике Лойкратхонг, пылавший, несмотря на воду.

Потом было молчание Земли, миллионов слонов, пустота, в которую канул свет, звонки по «Скайпу» и имейлы. Дороги были закрыты. Телекоммуникация умерла. Черная дыра разверзлась на месте моей страны.

Иногда ночью, проснувшись от нескончаемого шума автомобилей на улицах Лос-Анджелеса, этого жутковатого многоязычного тигля, в котором теснятся и бурлят десятки стран и культур, я подхожу к окну и смотрю на бульвар, заполненный красными огнями, где опасно гулять по ночам – и где все подчиняются светофорам. Я смотрю на дерзких, шумных американцев всех цветов и оттенков и вспоминаю родителей: отца, который не хотел, чтобы я жил под гнетом самозваного монарха, и мать, которая не хотела, чтобы я из-за этого погиб. Я прислоняюсь к окну и плачу, от облегчения и утраты.

Каждую неделю я хожу в храм и молюсь за них, возжигаю благовония, трижды кланяюсь Будде, Дамме и Сангхе и прошу, чтобы моих родителей ждало хорошее перерождение, а потом выбираюсь в свет, и шум, и пульсацию Америки.

* * *

Лица моих коллег кажутся серыми и бледными в свете экранов компьютеров и планшетов. Стрекот клавиатур заполняет отдел новостей: коллеги перерабатывают информацию, а потом, последним нажатием клавиши, отдав честь кнопке «опубликовать», отправляют в Сеть.

Их работа напоминает сверкающий водоворот, несущий адреса сайтов, тэги контента, контакты в социальных сетях. Всплески цветов, коды для коммуникационных корпораций:

оттенки синего и уши Микки-Мауса – «Дисней-Бертельсманн». Две радужные «О» с красной окантовкой – «Гугл АОЛ ньюс». «Фокс ньюс корп.» – тонкие серо-белые полоски. Зеленый – это мы, «Майлстоун медиа», продукт слияния «Эн-ти-ти ДоКоМо», корейского игрового консорциума «Хёндэ-Кубу» и дымящихся остатков «Нью-Йорк таймс компани». Есть и звезды помельче, разноцветие вспыхивает и мерцает, но мы – самые главные. Повелители вселенной света и цвета.

Новая информация распускается на экране, омывая нас кровавым заревом «Гугл ньюс»: из новостной ленты «УисперТек». «Гугл» заполучил сенсацию. «Фронтал лоуб» до Рождества выпустит новые ушные вкладыши: терабайтный объем, могут соединяться с оперативными очками «Оукли» через пин-лайн. Это технология следующего поколения: управление личными данными осуществляется посредством пин-лайновых сканов радужки пользователя. Аналитики считают, что все устройства, от мобильных телефонов до цифровых камер, получат отставку, как только возможности прибамбасов «Оукли» раскроются в полную силу. Информационное сообщение набирает яркость и перемещается к центру водоворота: пользователи валом валят в «Гугл» и просматривают украденные фотографии сканирующих радужку очков.

Дженис Мбуту, наш главный редактор, стоит у двери своего кабинета и хмурится. Красная мгла окутывает отдел новостей – тягостное напоминание о том, что «Гугл» обыгрывает нас, утягивает трафик. За стеклянными дверями Боб и Кэзи, которые возглавляют «Бернинг уайр», нашу собственную новостную ленту по потребительским технологиям, орут на своих репортеров, требуя, чтобы те работали лучше. Лицо Боба по цвету почти сравнялось с водоворотом на экранах.

На самом деле водоворот зовут «ЛивТрэк IV». Если спуститься на пятый этаж и вскрыть серверные стойки, можно увидеть на чипах отливающий металлом оранжевый логотип со снайперским прицелом и словами «Знание – сила». А значит, хоть мы и арендуем машины у «Блумберга», проприетарные алгоритмы по анализу сетевого контента принадлежат «Гугл-Нильсен», то есть мы платим конкуренту за то, чтобы он растолковывал нам наши собственные данные.

«ЛивТрэк IV» отслеживает пользовательские данные средств массовой информации – веб-сайты, новостные ленты, видео по запросу, аудиопотоки, телепередачи – при помощи собственных программ «Гугл», которые собирают сетевую статистику, а аппаратура «Нильсен» занимается данными с личных устройств – телевизоров, планшетов, наушников, телефонов, автомобильных радиоприемников. Сказать, что водоворот держит руку на пульсе массовой информации, – преуменьшение. Все равно что назвать сезон дождей немного мокрым. Водоворот и есть пульс, давление, насыщенность крови кислородом, количество эритроцитов и лейкоцитов, Т-клеток и алкоголя, анализ на СПИД и гепатит G… Это реальность.

Наша сервисная версия водоворота отражает работу нашего контента и сравнивает ее с первой сотней событий пользовательского трафика в реальном времени. Моя последняя новостная заметка – в водовороте, переливается возле края экрана: это рассказ о некомпетентности правительства. ДНК вымершей шахматной бабочки уничтожена по вине плохого руководства Калифорнийского федерального биологического центра по охране окружающей среды. ДНК этой бабочки – вместе с ДНК еще шестидесяти двух видов – хранилась при неправильных условиях, и в пробирках осталась лишь пыль. Образцы в буквальном смысле испарились. Моя статья начинается с федеральных работников: они ползают на карачках в хранилище с системой климат-контроля за два миллиарда долларов и орудуют криминалистическими пылесосами, которые позаимствовали у полицейского управления Лос-Анджелеса, в надежде отыскать крошечный кусочек бабочки, чтобы восстановить в отдаленном будущем.

В водовороте моя история – булавочная головка по сравнению с пульсирующими солнцами и лунами трафика контента других репортеров. Она не идет ни в какое сравнение с новостями об устройствах «Фронтал лоуб», или обзорами «Амод тотал комбат», или прямыми репортажами с состязаний по обжорству. Похоже, мою заметку читают только биологи, у которых я брал интервью. И неудивительно. Когда я писал о взятках за раздел земельных участков, меня читали только застройщики. Когда писал о злоупотреблении личными связями при выборе городских технологий по переработке воды, меня читали инженеры-гидротехники. И хотя никого не интересуют эти истории, меня все равно тянет к ним, словно, дернув за хвост огромного тигра – американское правительство, – я оправдаюсь за то, что не могу дернуть за хвост маленького котенка – Его Новое Божественное Величество Кхамсинга. Это глупо, это напоминает крестовый поход Дон Кихота. В результате моя зарплата – самая маленькая в офисе.

– У-у-ух!

Глаза отрываются от экранов, высматривают источник звука. Это ухмыляющийся Марти Макли.

– Можете поблагодарить меня… – Он наклоняется и нажимает кнопку на клавиатуре. – Сейчас!

В водовороте появляется новое сообщение, крошечный зеленый шар, сверкающий в «Гламур рипот», блоге «Скэндл манки» и личной новостной ленте Марти. У нас на глазах шар принимает запросы от клиентских программ по всему миру, извещая миллионы людей, подписанных на Марти, что он выпустил новую историю.

Я раскрываю планшет, проверяю тэги:

Дабл-Ди-Пи,
Кантри-рэп,
Новости музыки,
Злорадство,
Несовершеннолетняя,
Педофилия…

Если верить статье Макли, Дабл-Ди-Пи, русский гангста-кантри-рэпер – который, по моему мнению, не столь хорош, как азиатская поп-сенсация Кулаап, но которого обожает полпланеты, – обвиняется в том, что сделал ребенка четырнадцатилетней дочери своего пластического хирурга. Читатели начинают обращать внимание на заметку, и сияющая зеленая новость Марти борется за место в водовороте. Звездочка контента пульсирует, растет, а потом, словно кто-то плеснул бензина, взрывается. Дабл-Ди-Пи растекается по социальным сетям, набирает рекомендации, притягивает новых читателей, новые ссылки, новые клики… и новые рекламные доллары.

Марти триумфально трясет бедрами, затем машет рукой, привлекая общее внимание.

– И это, ребята, еще не все.

Он снова нажимает кнопку, и появляется еще одна запись: прямая трансляция из дома Дабла, где… похоже, человек, прославивший русский кантри-рэп, торопится на улицу. Прямая трансляция – это сюрприз. Большинству папарацци-любителей не хватает терпения сидеть и ждать в надежде, что случится нечто интересное.

Похоже, Марти установил в доме собственные камеры в расчете на нечто подобное.

Мы смотрим, как Дабл-Ди-Пи запирает за собой дверь.

– Я решил, что Ди-Пи заслужил предупреждение о том, что история раскрылась, – говорит Марти.

– Он бежит? – спрашивает Микела Плаа.

Марти пожимает плечами.

– Посмотрим.

Действительно, все выглядит так, словно Дабл, выражаясь по-американски, «делает ноги». Он садится в свой красный «Хаммер». Выезжает на улицу.

Марти улыбается, купаясь в зеленом сиянии набирающей популярность заметки. История раскручивается, и он занял превосходную позицию. Другие новостные агентства и блоги играют в догонялки. Вторичные посты возникают в водовороте, привлекают пользователей: новостные отделы пытаются увести наш трафик.

– У нас есть вертолет? – интересуется Дженис. Она вышла из своего стеклянного кабинета, чтобы наблюдать за шоу.

Марти кивает.

– Мы выходим на позицию. Я только что купил у копов эксклюзивные права на съемку, так что всем остальным придется платить за наш материал.

– Ты сообщил полиции о кросс-контенте?

– Да. Они выбили из своего бюджета деньги на вертолет.

Марти садится, начинает строчить по клавиатуре пулеметным потоком информации. Негромкое бормотание доносится из технической «ямы», Синди С. звонит нашим операторам связи, отключает линии, чтобы справиться с неожиданной лавиной данных. Ей известно то, о чем не знаем мы, то, к чему ее подготовил Марти. Она запускает дублирующие серверные кластеры. Марти словно не замечает зрителей. Перестает печатать. Пристально смотрит на водоворот, на свой сияющий контентный шар. Марти – дирижер симфонического оркестра.

Скопление историй-соперниц растет: «Гокер», «Ньюсуик» и «Троб» берут себя в руки и реагируют. Читатели кликают прочь, пытаются отыскать что-то новое в сообщениях наших конкурентов. Марти улыбается, нажимает кнопку «опубликовать» и швыряет очередное ведро мяса в бассейн с акулами общественного любопытства: видеозапись интервью с малолеткой. На экране она кажется ужасно юной. У нее в руках медвежонок.

– Клянусь, медвежонка придумал не я, – сообщает Марти. – Она сама его притащила.

Обвинения девочки перемежаются с бегством Дабла к границе, и все вместе напоминает синт-поп:

– И тогда он…

– И я сказала…

– Он единственный, кого я когда-либо… Похоже, Марти купил права на собственные песни Дабла для репортажа о его бегстве на «Хаммере». Видео прыгает по «Ютьюб» и «МоушнСуоллоу», словно шарик для пинг-понга. Водоворот переместил Дабл-Ди-Пи в центр экрана: все больше новостных лент и сайтов ссылаются на контент. Растет не только трафик: запись набирает социальный ранг по мере того, как множится число ссылок и меток.

– Что с акциями? – кричит кто-то.

Марти качает головой.

– У меня нет доступа.

Всякий раз, когда Марти выдает большую историю, мы просим его показать нам общую картину. Мы все поворачиваемся к Дженис. Та закатывает глаза, но кивает. Когда Синди заканчивает докупать пропускную способность, Дженис снимает блокировку. Водоворот отъезжает в сторону, и появляется второе окно, сплошные гистограммы и финансовый ландшафт: это изменение стоимости наших акций под влиянием растущего трафика – и растущих доходов от рекламы.

У биржевых программ – своя версия водоворота; они перехватывают сдвиги читательского трафика. Решения о купле и продаже текут по экрану, реагируя на популярность новостной ленты Макли. Он публикует заметку – и громадина растет. Нас подцепляют дру-

гие новостные ленты, люди рекомендуют статью своим друзьям, и всех их бомбардируют послания наших рекламодателей, что означает больший доход для нас и меньший – для всех остальных. Сейчас Макли больше Суперкубка. Его заметка связана с Дабл-Ди-Пи, то есть ее аудиторию составляет молодежь в возрасте от тринадцати до двадцати четырех лет, которая платит за стильные гаджеты, новую музыку, модную одежду, последние игры, стрижки бокс, чехлы для планшетов и рингтоны; это не только крупная, но и ценная демографическая прослойка.

Наши акции вырастают на один пункт. Замирают. Вырастают еще на один. Теперь перед нами четыре картинки. Видео Дабл-Ди-Пи, за которым гонится полиция, вид с взлетающего вертолета и четырнадцатилетняя девчонка. Девчонка говорит:

– Я действительно его люблю. У нас много общего. Мы собираемся пожениться.

В то время как «Хаммер» Дабл-Ди-Пи несется по бульвару Санта-Моника под песню «Ковбойский драндулет».

Новая волна общественного интереса накрывает запись. Наши акции снова растут. Переходят в ежедневную премиальную зону. Клики так и сыплются. Это правильная комбинация контента, по словам Макли, СИЗ: секс, идиотизм, злорадство. Акции растут. Все ликуют. Макли раскланивается. Мы любим его. Благодаря ему я могу оплачивать половину счетов за квартиру. Мне на жизнь хватает даже небольших премиальных отдела новостей за работу Макли. Не знаю, сколько получает он сам за такое событие. Синди говорит, «не меньше семерки, детка». Его новостная лента настолько популярна, что он вполне мог бы работать независимо, но тогда у него не будет ресурсов, чтобы добыть вертолет для погони к мексиканской границе. Это симбиоз. Макли делает то, что умеет лучше всего, а «Майлстоун» платит ему как звезде.

Дженис хлопает в ладоши.

– Ну ладно. Вы заслужили свою премию. А теперь – к работе.

Все дружно стонут. Синди убирает с большого экрана акции и бонусы, и нас ждет работа: мы должны создавать контент, чтобы освещать водоворот, чтобы отдел новостей мерцал зеленым, цветом «Майлстоун». Подойдет что угодно, от обзора «Митсубиши-Роуд-Крузер» с расходом один галлон на сто миль до советов по выбору лучшей индейки на День благодарения. Мы работаем, а нас озаряет история Макли. Он раскручивает более мелкие дополнительные заметки, добавляет обновление, интерактивные примочки, чтобы получить еще больше пингов от своей колоссальной аудитории.

Марти потратит весь день на общение со своим слоновьим детищем, своей историей. Будет заманивать посетителей еще на один клик. Даст им возможность голосовать, обсуждать, как бы им хотелось, чтобы Ди-Пи понес заслуженное наказание, спрашивать, можно ли действительно влюбиться в четырнадцатилетнюю девчонку. У этой новости большое будущее, и Марти взрастит ее, подобно гордому отцу, будет холить и лелеять, будет помогать выжить в жестоком мире водоворота.

Моя собственная крошечная зеленая искорка контента погасла. Похоже, к Дабл-Ди-Пи неравнодушны даже правительственные биологи.

* * *

Когда отец не делал глупые ставки на революцию, он преподавал агрономию в Лаосском государственном университете. Возможно, наша жизнь сложилась бы иначе, если бы он растил рис на плантациях в столичных пригородах, а не водился с интеллектуалами и их идеями. Но его карма была учительствовать и исследовать, и потому, повышая производство риса в Лаосе на тридцать процентов, он одновременно забивал себе голову рискованными фантазиями: Торо, Ганди, Мартин Лютер Кинг, Сахаров, Мандела, Аун Сан Су Чжи. Все они

были игроками. Отец говорил, что раз удалось пристыдить белых южноафриканцев, значит, самозваный король тоже должен исправиться. Отец утверждал, что Торо, похоже, был лаосцем, ведь он протестовал так вежливо.

По словам отца, Торо был лесным монахом, который отправился в джунгли за просветлением. Чтобы жить среди баньяна и ползучих лиан Массачусетса и медитировать над природой страдания. Отец верил, что в прошлой жизни Торо, без сомнения, был *архатом*[6]. Он часто говорил о мистере Генри Дэвиде, и в моем воображении этот *фаранг*[7] тоже становился великим человеком, как и мой отец.

Когда под покровом темноты в гости к отцу приходили единомышленники – после государственного переворота, и ответного государственного переворота, и восстания Кхамсинга, которого поддержали китайцы, – они часто обсуждали мистера Генри Дэвида. Отец сидел со своими друзьями и учениками, пил черный лаосский кофе и курил сигареты, а потом писал тщательно продуманные претензии к правительству, которые его ученики переписывали и по ночам оставляли в общественных местах, бросали в водосточные желоба и расклеивали по стенам.

В своих партизанских посланиях отец спрашивал, куда пропали его друзья и почему никто не помогает их семьям. Спрашивал, почему китайские солдаты били по головам монахов, устроивших голодовку перед дворцом. Иногда, когда отец напивался и эти мелкие ставки переставали удовлетворять его жажду риска, он посылал статьи в газеты.

Ни одну из них так и не напечатали, но он был одержим мыслью, что рано или поздно газеты изменятся. Что имя «отца сельского хозяйства Лаоса» подвигнет редактора совершить самоубийство и опубликовать его претензии.

* * *

Все закончилось тем, что матери пришлось подавать кофе капитану тайной полиции, а снаружи ждали еще два полицейских. Капитан вел себя очень вежливо, он предложил отцу сигарету марки «555» – которая уже стала дефицитной контрабандой, – и зажег ее для него. Потом расстелил на журнальном столике листовку, аккуратно сдвинув в сторону кофейные чашки и блюдца. Листовка была грязной, мятой и рваной. И полной обвинений против Кхамсинга. Ее написал мой отец.

Отец и капитан курили, молча изучая листовку.

Наконец капитан спросил:

– Вы остановитесь?

Отец затянулся, медленно выдохнул дым, глядя на листовку.

– Мы все ценим то, что вы сделали для королевства Лао, – сказал капитан. – Моя семья голодала бы, если бы не ваша работа в деревнях. – Он наклонился вперед. – Если вы дадите обещание перестать писать эти листовки и обвинения, все будет забыто. Все.

Отец по-прежнему молчал. Докурил сигарету. Затушил ее.

– Дать такое обещание непросто, – ответил он.

Капитан удивился.

– У вас есть друзья, которые выступили в вашу защиту. Быть может, вы одумаетесь. Ради них.

Отец передернул плечами. Капитан расправил мятую листовку, разгладил ее. Перечитал.

---

[6] Архат (буддизм) – человек, достигший наивысшей степени просветления.

[7] Фаранг – тайское название европейцев.

– В этих листовках нет никакого смысла, – сказал он. – Династия Кхамсинга не рухнет из-за того, что вы напишете пару жалоб. Большинство листовок рвут прежде, чем кто-либо прочтет их. Они ничего не дают. Они бессмысленны. – Капитан почти умолял. Он поднял глаза и увидел возле двери меня. – Бросьте это. Если не ради друзей, то ради вашей семьи.

Мне бы хотелось добавить, что отец сказал нечто великолепное. Нечто возвышенное насчет борьбы с тиранией. Может, вспомнил кого-то из своих идолов, Аун Сан Су Чжи, или Сахарова, или мистера Генри Дэвида с его любовью к вежливому протесту. Но он не сказал ничего. Только сидел, положив руки на колени, и смотрел на рваную листовку. Теперь я думаю, что он был очень напуган. Прежде он никогда не испытывал недостатка в словах. А сейчас лишь повторил:

– Это будет непросто.

Капитан ждал. Когда стало ясно, что больше отцу сказать нечего, он поставил кофейную чашку и позвал своих людей. Они тоже вели себя очень вежливо. Кажется, уводя отца, капитан даже извинился перед моей матерью.

* * *

Идет третий день золотой жилы Дабл-Ди-Пи, и зеленое солнце озаряет всех нас, купает в мирном, доходном сиянии. Я работаю над своей последней статьей в наушниках-вкладышах «Фронтал лоуб», которые отсекают окружающий мир. Писать на неродном языке непросто, но моя любимая певица и соотечественница Кулаап нашептывает мне в ухо, что «любовь – это птица», и работа спорится. Кулаап поет на языке моего детства, и я чувствую себя как дома.

Кто-то хлопает меня по плечу. Я вытаскиваю наушники и оборачиваюсь. Надо мной стоит Дженис.

– Онг, мне нужно с тобой поговорить. – Она манит меня за собой.

Когда мы входим в ее кабинет, она закрывает дверь и направляется к столу.

– Садись, Онг. – Дженис берет планшет, просматривает данные. – Как у тебя дела?

– Очень хорошо, спасибо. – Я не уверен, хочет ли она услышать от меня что-то еще, но если хочет, сама об этом скажет. Американцы не любят ходить вокруг да около.

– О чем будет твоя следующая статья? – спрашивает она.

Я улыбаюсь. Мне нравится эта история, она напоминает о моем отце. А благодаря мягкому голосу Кулаап я уже провел почти все исследования. Хоустония, цветок, который прославил в своих журналах мистер Генри Дэвид Торо, цветет слишком рано, и его некому опылять. Он цветет в марте, и пчелы его не замечают. Ученые, с которыми я беседовал, винят во всем глобальное потепление, но теперь хоустония вот-вот исчезнет. Я говорил с биологами и местными натуралистами, а сейчас хочу отправиться на пруд Уолден, в паломничество за хоустонией, которую вот-вот засунут в пробирку работники федеральной лаборатории по сохранению окружающей среды, вооруженные белоснежными халатами и криминалистическими пылесосами.

Когда я заканчиваю описывать статью, Дженис смотрит на меня как на умалишенного. Знаю, она думает, что я спятил, это видно по ее лицу. А кроме того, она говорит:

– Да ты рехнулся!

Американцы – очень прямые люди. Сложно сохранять нейтральное выражение лица, когда они кричат на тебя. Иногда мне кажется, будто я адаптировался к Америке. Я живу здесь уже пять лет, с тех пор как получил стипендию и приехал из Таиланда, но в такие моменты, как сейчас, когда американцы теряют самообладание и начинают орать, я могу лишь улыбаться и стараться не съеживаться. Однажды чиновник ударил отца туфлей по лицу, но отец скрыл свой гнев. Однако Дженис – американка, и она очень рассержена.

– Я не разрешу публиковать этот мусор!

Я пытаюсь улыбнуться, потом вспоминаю, что американцы воспринимают извиняющуюся улыбку иначе, чем лаосцы. Перестаю улыбаться и пытаюсь придать своему лицу… что-то. Надеюсь, серьезность.

– Эта история очень важна, – говорю я. – Экосистема не может адаптироваться к изменению климата. Она утратила… – Я не могу вспомнить слово. – Синхронию. Ученые считают, что цветок можно спасти, но для этого требуется завезти пчел, которые живут в Турции. Они считают, эти пчелы смогут взять на себя функции местной популяции, не нанеся при этом значительного вреда экосистеме.

– Цветы и турецкие пчелы.

– Да. Это важная история. Позволить цветку умереть? Или попытаться спасти его ценой изменения экосистемы Уолденского пруда? Я думаю, вашим читателям будет очень интересно.

– Интересней этого? – Она показывает за стеклянную стену, на водоворот с пульсирующим зеленым солнцем Дабл-Ди-Пи, который забаррикадировался в мексиканском отеле и взял в заложники пару фанатов.

– Ты знаешь, сколько кликов мы получаем? – спрашивает Дженис. – Мы эксклюзивны. Марти завоевал доверие Дабла и завтра отправляется на интервью, при условии, что мексиканцы не возьмут отель штурмом. Люди возвращаются к нам каждые несколько минут, только чтобы заглянуть в блог Марти о его подготовке к интервью.

Пылающий шар не просто царит на экране – все остальное теряется в его свете. Если взглянуть на биржевые курсы, все, кто не смог укрыться под нашим корпоративным зонтом, растеряли своих подписчиков. Не видно даже истории о «Фронтал лоуб»/«Оукли». Три дня полного доминирования в водовороте принесли нам огромный доход. Сейчас Марти демонстрирует своим зрителям, что наденет бронежилет на случай, если мексиканские коммандос решат атаковать, пока он будет обсуждать с Ди-Пи природу настоящей любви. И у него заготовлено еще одно эксклюзивное интервью с матерью. Синди монтировала запись и поделилась с нами своим отвращением. Похоже, дамочка сама отвезла дочь в особняк Ди-Пи на ночную вечеринку у бассейна и оставила там одну.

– Быть может, кто-то устал от Ди-Пи и хочет увидеть что-то другое, – говорю я.

– Своей цветочной историей ты сам себя покалечишь, Онг. Даже кулинарное путешествие Прадипа по Ладаку собирает больше просмотров, чем то, что пишешь ты.

Кажется, она хочет добавить что-то еще, но умолкает. Словно подбирает слова. Это странно. Обычно Дженис говорит раньше, чем думает.

– Ты мне нравишься, Онг, – говорит она. Я растягиваю губы в улыбке, но она продолжает: – Я наняла тебя, потому что у меня было на твой счет хорошее предчувствие. И я с радостью уладила визовые формальности, чтобы ты остался в стране. Ты хороший человек. Ты хорошо пишешь. Но средний показатель по твоей новостной ленте – меньше тысячи пингов. – Дженис смотрит на свой планшет, поднимает глаза на меня. – Ты должен его повысить. Почти никто из читателей не делает тебя заглавной страницей. А те, кто подписывается на твою ленту, отправляют тебя в третью категорию.

– Шпинатное чтиво, – вставляю я.

– Что?

– Мистер Макли называет это шпинатным чтивом. Когда людям кажется, что душа нуждается в полезной пище, вроде шпината, они кликают меня. Или читают Шекспира.

Тут я краснею. Я вовсе не имел в виду, что мою работу можно сравнить с трудами великого поэта. Хочу поправиться, но я слишком смущен. Поэтому молча сижу перед Дженис, весь красный.

Она изучает меня.

– Да. Проблема именно в этом. Послушай, я ценю твою работу. Очевидно, ты очень умный. – Ее глаза вновь пробегают по планшету. – Та заметка про бабочку действительно была весьма интересной.

– Правда? – Я снова выдавливаю улыбку.

– Просто никто не хочет читать такие истории.

– Но вы наняли меня для того, чтобы писать важные статьи, – пытаюсь возразить я. – Статьи о политике и правительстве, чтобы продолжать традиции старых газет. Я помню, что вы сказали, когда брали меня на работу.

– Верно, верно. – Она отворачивается. – Но я скорее имела в виду хороший скандал.

– Шахматная бабочка и есть скандал. Она вымерла.

Дженис вздыхает.

– Это не скандал. Это просто унылая история. Никто не читает унылые истории, а если и читает, то лишь один раз. И никто не подписывается на унылую новостную ленту.

– Тысяча человек подписалась.

– Тысяча человек. – Она смеется. – Мы не блог какой-нибудь лаосской общины, мы – «Майлстоун», и мы конкурируем за клики с ними. – Дженис машет рукой в сторону водоворота. – Твои истории живут полдня, на них ссылаются одни маргиналы. – Она качает головой. – Господи, я даже не знаю, что у тебя за демографическая группа. Престарелые хиппи? Бюрократы-федералы? Показатели не оправдывают количества времени, которое ты тратишь на свои статьи.

– Каких статей вы от меня хотите?

– Понятия не имею. Любых. Обзоры продукции. Полезные новости. Что угодно, только не «с сожалением сообщаем вам очередное печальное известие». Если читатель ничего не может поделать с треклятой бабочкой, не нужно ему о ней рассказывать. Это лишь угнетает людей – и снижает твои показатели.

– Неужели Марти не справляется с нашими показателями?

Дженис смеется.

– Ты похож на мою мать. Послушай, я не хочу увольнять тебя, но если ты не начнешь набирать хотя бы по пятьдесят тысяч в день, у меня не будет выбора. Средний показатель у нашей группы намного ниже, чем у других команд, и когда приходит время отчетов, мы выглядим паршиво. Я сражаюсь с Нгуенем из «Техники и игрушек» и Пенн из «Йоги и духовности», и никто не хочет читать о том, как мир катится ко всем чертям. Найди мне истории, которые понравятся людям.

Она говорит что-то еще, слова, которые, по-видимому, должны придать мне рвение и вдохновленность, а потом я оказываюсь за дверью, снова лицом к водовороту.

Суть в том, что я никогда не писал популярных историй. Я не популярный писатель. Я честный. Неторопливый. Я не поспеваю за той скоростью, которую так любят американцы. Найди истории, которые понравятся людям. Я могу написать что-то для Макли, про Дабл-Ди-Пи, может, добавить пару колонок к его шедевру, но почему-то мне кажется, что читатели поймут: я притворяюсь.

Марти замечает меня у двери кабинета Дженис. Подходит.

– Пилит из-за показателей?

– Я пишу неправильные истории.

– Точно. Ты идеалист.

Секунду мы молчим, размышляя о природе идеализма. Хотя Марти – американец до мозга костей, он мне нравится: он умеет слышать человеческие сердца. Люди доверяют ему. Даже Дабл-Ди-Пи доверяет ему, хотя Марти разнес его имя по передовицам всех новостных изданий. У Марти доброе сердце. *Jai dee*. Он мне нравится. Я думаю, он искренен.

– Послушай, Онг, – говорит Марти. – Ты хорошо работаешь. – Он обнимает меня за плечи. Мне кажется, что он сейчас любовно потреплет меня по голове, и я стараюсь не поморщиться, но Марти чувствителен. Он убирает руку. – Послушай, Онг. Мы оба знаем, что эта работа – не для тебя. У нас здесь новостной бизнес. Ты просто не создан для него.

– По условиям моей визы я должен работать.

– Точно. Дженис своего не упустит. Послушай. – Он делает паузу. – Я сейчас занят этой заварушкой с Дабл-Ди-Пи в Мексике. Но у меня наготове еще одна история. Эксклюзив. Все равно я уже получил свою премию. А тебе она поднимет показатели.

– Вряд ли я смогу писать колонки к Дабл-Ди-Пи.

Марти ухмыляется.

– Я не о том. И это не благотворительность. По правде сказать, ты прекрасно подходишь для этого дела.

– Речь о плохой работе правительства?

Он смеется, но, думаю, не надо мной.

– Нет. – Марти молчит, улыбается. – Это Кулаап. Интервью.

Я втягиваю воздух. Моя соотечественница, здесь, в Америке. Она тоже сбежала из страны во время чисток. Когда появились танки, Кулаап снималась в кино в Сингапуре и не попала в ловушку. К тому времени она уже была популярна по всей Азии, и когда Кхамсинг превратил нашу страну в черную дыру, мир это заметил. Теперь Кулаап популярна и в Америке. Она очень красива. И помнит, какой была наша страна, прежде чем погрузиться во тьму. Мое сердце бешено колотится в груди.

– Она согласилась дать мне эксклюзивное интервью, – продолжает Марти. – Но ты говоришь на ее родном языке, и я думаю, она согласится на замену. – Он умолкает, серьезно смотрит на меня. – У нас с Кулаап хорошие отношения. Она не дает интервью кому попало. Я написал много статей о ней, когда Лаос катился прямо в бездну. Создал ей хорошее освещение в прессе. Это особое одолжение, так что не облажайся.

Я качаю головой.

– Нет. Не облажаюсь. – Складываю ладони и подношу ко лбу в жесте благодарности. – Я не облажаюсь. – Снова подношу ладони ко лбу.

Марти смеется.

– Забудь про эти вежливые ужимки. Дженис отрежет тебе яйца, лишь бы повысить цену акций, но мы, парни в окопах, помогаем друг другу. Верно?

* * *

Утром я варю крепкий кофе со сгущенным молоком; готовлю суп с рисовой лапшой, добавляю ростки фасоли, чили и уксус, подогреваю батон французского хлеба, который покупаю во вьетнамской булочной в нескольких кварталах от моей квартиры. Включив новый ремикс музыки Кулаап диджея Дао, сажусь за маленький кухонный стол, наливаю кофе из френч-пресса и открываю планшет.

Планшет – удивительное устройство. В Лаосе газета была газетой – неизменным физическим объектом, содержавшим только официальные новости. Реальные новости нашего Нового Божественного Королевства нельзя было узнать из газет, или по телевизору, или по телефону, или при помощи наушников. Их нельзя было узнать из Сети и новостных лент, если только вы не были уверены, что ваш ближний не станет подглядывать вам через плечо в интернет-кафе и что рядом не сидит тайная полиция, а владелец не опознает вас, когда начнут выяснять, кто использовал этот компьютер для общения с внешним миром.

Реальные новости пересказывали шепотом и сортировали в соответствии с доверием, которое испытывали к шептуну. Был ли он членом семьи? Старинным приятелем? Мог ли

извлечь выгоду, поделившись с вами информацией? Мой отец и его бывшие одноклассники доверяли друг другу. Он также доверял некоторым своим ученикам. Думаю, потому-то в конце концов за ним и пришла тайная полиция. Кто-то из доверенных друзей или учеников также нашептывал новости своим официальным друзьям. Возможно, мистер Интха-Чак или Сом Ванг. Возможно, кто-то другой. Во мраке прошлого нельзя различить, кто говорил правду и кому.

В любом случае, отца должны были арестовать согласно его карме, так что личность шептуна не имеет значения. Но прежде – прежде, чем новости о моем отце достигли официальных ушей, – реальная информация не достигала лаосского телевидения и «Вьентьян таймс». И это означало, что когда начались протесты и отец вернулся домой с окровавленным лицом, избитый дубинками, мы могли сколько угодно читать о трех тысячах школьников, певших национальный гимн нашему божественному монарху. Пока отец метался по постели в бреду, газеты сообщали, что Китай подписал контракт на поставку резины, который утроит доход провинции Луангнамтха, а плотина «Нам-Теун» теперь приносит двадцать два с половиной миллиарда тайских батов в год, которые Таиланд платит за электричество.

Но там не было ни окровавленных дубинок, ни мертвых монахов, ни пылающего «Мерседеса-Бенц», плывущего по реке в сторону Камбоджи.

Реальные новости просачивались в наш дом вместе со слухами в ночи, пили с нами кофе и уходили на рассвете, до первых петухов. В темноте, озаренной огоньком сигареты, мы узнавали, что Вилафон пропал, а жену мистера Сэнга избили в знак предупреждения. Реальные новости были слишком ценны, чтобы рисковать ими на публике.

Здесь, в Америке, моя страница пылает множеством новостных лент, подмигивает мне окнами с видео, льется на меня по широкополосной сети. Это водопад информации. Открывается моя личная новостная страница, мои новостные ленты выстраиваются, сортируются в соответствии с заданными мной приоритетами и категориями тэгов – смесь сообщений из Меунга, блогов лаосских беженцев и чата с редкими близкими друзьями из Таиланда и американского колледжа, в котором я учился на стипендию фонда «Помощь людям».

На второй странице и на третьей я держу основные новости – подборку «Майлстоуна», «Бангкок пост», «Пномпень экспресс» – новости, отмеченные редакторами. Однако закончив с собственной подборкой, я зачастую не успеваю просмотреть заголовки этих серьезных новостей, отобранных редакторами для мифического среднестатистического читателя.

В любом случае, мне лучше знать, что именно я хочу прочесть, и благодаря ключевым словам и тэгам я могу откапывать истории и обсуждения, которые новостному агентству и в голову не придет посоветовать. Пусть я не в силах заглянуть в саму черную дыру, но мне удается скользить по краю и по нему предсказывать новости.

Я ищу такие тэги: Вьентьян, Лаос, Лао, Кхамсинг, дружба Китая с Лаосом, Корат, Золотой треугольник, независимость хмонгов, Лаосская НДР, имя моего отца… Лишь лаосцы, сбежавшие от мартовских чисток, читают эти блоги. Совсем как в те времена, когда мы жили в столице. Блоги – это слухи, которые мы шепотом передавали друг другу. Теперь мы публикуем наши перешептывания в Сети и создаем подписки вместо подпольных кофейных групп, но суть остается прежней. Это семья, та, что у нас осталась.

Водоворот даже не замечает лаосские тэги. Они цвели ярко, но недолго, пока студенты-партизаны продолжали загружать информацию со своих телефонов – пылающие, кошмарные фотографии. Однако потом телефонную связь отключили, страна провалилась в черную дыру, и остались только мы, крошечная сеть за пределами нашей родины.

Мое внимание привлекает заголовок в «Джамбо блог». Я открываю сайт, и на планшете вспыхивает цветное изображение трехколесного такси моего детства. Я часто захожу сюда. Здесь спокойно.

«Друг Лао» пишет, что некоторые люди, может, даже целая семья, переплыли Меконг и добрались до Таиланда. Он не уверен, приняли ли их как беженцев или отправили обратно.

Это неофициальная новость. Скорее идея новости. «СомПаБой» не верит, но «Кхамчанх» возражает, что это правда, что он слышал это от человека, чья сестра замужем за исанским пограничником из тайской армии. Поэтому мы цепляемся за соломинку. Надеемся. Строим предположения, откуда эти люди, гадаем, не могли ли, вопреки всему, среди них быть наши родственники: брат, сестра, кузина, отец…

Час спустя я закрываю планшет. Нет смысла читать дальше. Это лишь бередит воспоминания. Глупо тревожиться о прошлом. Лаосской ПДР больше нет. Мечтать о том, чтобы все было иначе, – только растравлять рану.

* * *

Портье за регистрационной стойкой «Новотела» ждет меня. Служащий отеля с ключом провожает меня до частного лифта, и тот возносит нас в затянутые смогом небеса. Двери открываются в маленькую переднюю с крепкой дверью из красного дерева. Служащий заходит обратно в лифт и уезжает, а я остаюсь в этом странном шлюзе. По-видимому, охрана Кулаап изучает меня.

Дверь из красного дерева открывается, и улыбающийся чернокожий мужчина – на сорок сантиметров выше меня, с мускулами, которые извиваются, словно змеи, – жестом приглашает меня внутрь. Мужчина ведет меня в святая святых Кулаап. Здесь жарко и влажно, почти как в тропиках, повсюду журчат фонтаны. Квартира наполнена музыкой воды. Я расстегиваю воротничок. Я думал, тут будет кондиционер, и теперь задыхаюсь. Почти как дома. А потом я вижу ее – и теряю дар речи. Она очень, очень красива. Жутковато стоять перед человеком, который живет в фильмах и музыке – и которого ты ни разу не встречал во плоти. Она не столь великолепна, как в кино, но в ней больше жизни, больше присутствия – фильмы не могут этого передать. Я складываю руки и подношу ко лбу, приветствуя ее.

Она смеется, берет меня за руку и пожимает по-американски.

– Вам повезло, что вы так сильно нравитесь Марти, – говорит она. – Я не люблю интервью.

Я едва могу лепетать.

– Да. У меня всего несколько вопросов.

– Нет-нет, не стесняйтесь! – Она снова смеется и, не выпуская моей руки, тянет меня в гостиную. – Марти рассказал мне о вас. Вам нужно поднять рейтинг. Когда-то он тоже мне помог.

Она наводит ужас. Она моя соотечественница, но приспособилась к этому месту лучше меня. Кажется, ей здесь комфортно. Она двигается иначе, иначе улыбается; она – американка с легким оттенком нашей культуры, но без корней. Это очевидно. И почему-то я испытываю разочарование. В фильмах она такая сдержанная, а теперь падает на диван, вытянув перед собой ноги. Никакой застенчивости. Мне стыдно за нее, и я рад, что еще не установил камеру. Она задирает ноги на диван. Я шокирован. Она замечает выражение моего лица и улыбается.

– Вы хуже моих родителей. Такой наивный.

– Простите.

Она передергивает плечами.

– Не тревожьтесь. Я полжизни провела здесь; я здесь выросла. Другая страна, другие правила.

Я смущен. Стараюсь не захихикать от напряжения.

– Я только задам вам несколько вопросов, – говорю я.

– Вперед.

Она усаживается перед моей видеокамерой. Я начинаю:

– Во время мартовских чисток вы были в Сингапуре.

Она кивает.

– Верно. Мы заканчивали «Тигра и призрака».

– Какова была ваша первая мысль, когда это случилось? Вы хотели вернуться? Вы были поражены?

Она хмурится.

– Выключите камеру.

Я подчиняюсь, и она с жалостью смотрит на меня.

– Так вы кликов не заработаете. Старая революция никому не интересна. Даже моим фанатам. – Она резко встает и кричит в зеленые джунгли своей квартиры: – Террелл?

Появляется чернокожий гигант. Улыбчивый и смертоносный. Нависает надо мной. Он ужасен. В фильмах, которые я смотрел в детстве, были такие *фаранги*. Жуткие крупные чернокожие мужчины, противостоявшие нашим героям. Позже, приехав в Америку, я узнал, что *фарангам* и чернокожим не нравится, как мы изображаем их в наших фильмах. Точно так же, как мне не нравятся их фильмы про Вьетнам, в которых лаосские борцы за свободу ведут себя совершенно отвратительно. Они похожи на животных, ничего общего с реальностью. Однако я все равно съеживаюсь, когда Террелл смотрит на меня.

– Мы идем гулять, Террелл, – говорит Кулаап. – Не забудь предупредить папарацци. Мы устроим для них шоу.

– Я не понимаю, – говорю я.

– Вы ведь хотите заработать клики?

– Да, но… Она улыбается.

– Вам не нужно интервью. Вам нужно событие. – Она оглядывает меня. – И одежда получше. – Кивает своему телохранителю. – Одень его, Террелл.

* * *

Когда мы выходим из башни, нас ослепляют вспышки камер. Папарацци повсюду. Двигатели их мотоциклов ревут, а Террелл и трое его людей ведут нас сквозь толпу журналистов к лимузину, расталкивая камеры с силой и жестокостью, никак не вяжущимися с осторожной жалостью, с которой он выбирал для меня костюм «Гуччи».

При виде толпы и кричащих репортеров Кулаап демонстрирует должное изумление, но до моего изумления ей далеко, а потом мы оказываемся в лимузине и выезжаем с поворотного круга, преследуемые папарацци.

Кулаап пригнулась к планшету автомобиля, вводит пароли. Она очень красива, в черном платье до середины бедер, тонкие лямки ласкают гладкие обнаженные пле чи. Мне кажется, будто я в кино. Она нажимает клавиши. Экран озаряется, показывая задние огни лимузина: вид с камер наших преследователей.

– Вам известно, что я три года ни с кем не встречалась? – спрашивает Кулаап.

– Да, я прочел биографию на вашем сайте.

Она широко улыбается.

– А теперь я, кажется, нашла одного из своих соотечественников.

– Но у нас не свидание! – протестую я.

– Конечно, свидание. – Она снова улыбается. – Я отправляюсь на предположительно секретное свидание с загадочным симпатичным мальчиком-лаосцем. Только взгляните на всех этих папарацци, которые гадают, куда мы направляемся и что собираемся делать. – Она вводит очередной код, и теперь перед нами вид на папарацци из лимузина. Кулаап улыбается. – Моим фанатам нравится знать, как я живу.

Могу представить, как сейчас выглядит водоворот: история Марти никуда не делась, но оживает десяток других сайтов, и в центре всего этого – собственный взгляд Кулаап на суматоху, притягивающий фанатов, которые хотят получить информацию прямиком от своего кумира. Кулаап смотрится в зеркальце, потом улыбается в камеру смартфона.

– Всем привет. Похоже, прикрытие рухнуло. Решила сообщить вам, что я на очаровательном свидании с очаровательным мужчиной. Потом расскажу, как все прошло. Обещаю. – Она нацеливает камеру на меня. Я тупо таращусь в объектив. Кулаап смеется. – Скажи привет и пока, Онг.

– Привет и пока.

Она снова смеется, машет в камеру.

– Обожаю вас. Надеюсь, ваш вечер будет таким же замечательным. – На этом она заканчивает запись и вводит код, чтобы отправить видео на веб-сайт.

Это пустышка, не сенсация, даже не новость, но когда она открывает на планшете новое окно с мини-версией водоворота, я вижу, как ее сайт вспыхивает трафиком. Ее водоворот проще и слабее нашего в «Майлстоуне», однако дает впечатляющую информацию о данных, связанных с тэгами Кулаап.

– Какая у тебя новостная лента? – спрашивает она. – Давай попробуем подстегнуть твой трафик.

– Вы серьезно?

– Марти Макли сделал для меня намного больше. Я обещала помочь. – Она смеется. – Кроме того, мы же не хотим, чтобы тебя выслали в черную дыру?

– Вы знаете о черной дыре? – глупо спрашиваю я.

В ее улыбке – печаль.

– Думаешь, лишь потому, что я задираю ноги на мебель, мне плевать на тетушек и дядюшек, что остались дома? Плевать на происходящее?

– Я…

Она качает головой.

– Такой наивный.

– Вы пользуетесь «Джамбо»… – Я умолкаю. Это кажется невероятным.

Она наклоняется ближе.

– Мой ник – «Друг Лао». А твой?

– «Маленький Санг». Я думал, «Друг Лао» – мужчина…

Кулаап лишь смеется.

Я наклоняюсь вперед.

– Это правда, что та семья выбралась?

Она кивает.

– Определенно. Генерал тайской армии – мой поклонник. Он рассказывает мне все. У них есть пост перехвата. А иногда они посылают за границу разведчиков.

Я словно вновь оказался дома.

* * *

Мы отправляемся в крошечный лаосский ресторан, где все узнают Кулаап и бегают вокруг нее, а владельцы просто запирают дверь перед носом папарацци, когда те становятся слишком назойливыми. Мы коротаем вечер, делясь воспоминаниями о Вьентьяне. Оказывается, нам обоим нравился один и тот же лоток на Кэм-Кхонге, где продавали рисовую лапшу. Оказывается, она любила сидеть на берегу Меконга и мечтать стать рыбаком. Оказывается, по выходным мы ездили за город на одни и те же водопады. Оказывается, за пределами страны невозможно найти хороший дум-мак-хунг. Кулаап – прекрасный собеседник, полный

жизни. Ее американские привычки кажутся странными, но сердце у нее доброе. Время от времени мы фотографируем друг друга и выкладываем фотографии на ее сайт, подкармливая вуайеристов. А потом снова садимся в лимузин, и вокруг снова вьются папарацци. Я чувствую себя звездой: сверкают вспышки, люди выкрикивают вопросы. Я горд, что сопровождаю эту красивую, умную женщину, которая намного больше других знает о том, что происходит на нашей родине.

В машине она заставляет меня открыть бутылку шампанского и наполнить два бокала, а сама изучает в водовороте результаты нашего свидания. Она перепрограммировала водоворот, чтобы он также отслеживал рейтинг моей новостной ленты.

– Сегодня у тебя на двадцать тысяч читателей больше, чем вчера, – говорит она.

Я сияю от удовольствия. Кулаап продолжает просматривать результаты.

– Кто-то уже опознал тебя. – Она поднимает бокал. – Ты знаменитость.

Мы чокаемся. Я раскраснелся от вина и счастья. Я добуду клики для Дженис. Мне кажется, словно бодисатва[8] спустился с небес, чтобы спасти мою работу. Мысленно я благодарю Марти за то, что устроил все это, за его щедрость. Кулаап склоняется над экраном, изучает пылающий контент. Открывает новое окно, начинает читать. Хмурится.

– Что за ерунду ты пишешь?

Я изумленно вздрагиваю.

– В основном статьи о правительстве. – Я пожимаю плечами. – Иногда об окружающей среде.

– Например?

– Сейчас я работаю над статьей о глобальном потеплении и Генри Дэвиде Торо.

– Разве мы с этим не покончили?

Я в замешательстве.

– Покончили с чем?

Нас встряхивает: лимузин сворачивает на бульвар Голливуд, мотоциклы ревут и мечутся вокруг, словно косяк рыб. Папарацци фотографируют бок лимузина, фотографируют нас. Сквозь тонированные стекла вспышки кажутся светлячками, крошечными, как мои статьи в водовороте.

– Я хочу сказать, ведь это старая история. – Она делает глоток шампанского. – Даже Америка снижает вредные выбросы. Все знают, что это проблема. – Кулаап барабанит пальцами по подлокотнику. – Налог на углекислый газ для моего лимузина вырос в три раза, несмотря на гибридный двигатель. Все осознают, что это проблема. И мы ее решим. О чем тут писать?

Она американка. В ней – все их хорошие черты: их оптимизм, желание нестись вперед, творить собственное будущее. И все плохие: их странное невежество, нежелание понять, что они ведут себя как дети.

– Нет. С этим не покончили, – говорю я. – Становится только хуже. С каждым днем. И все наши усилия не приносят никакого результата. Может, мы плохо стараемся, а может, уже слишком поздно. Становится только хуже.

Она пожимает плечами.

– Я читала другое.

Я пытаюсь не выказать раздражения.

– Разумеется, вы читали другое. – Я машу рукой в сторону экрана. – Посмотрите на клики в моей ленте. Люди хотят счастливые истории. Хотят забавные истории. А не те, что пишу я. Поэтому мы все пишем то, что хотите прочесть вы, то есть пустышки.

---

[8] Бодисатва (буддизм) – просветленный, отказавшийся от нирваны ради спасения всех живых существ.

– И все же…

– Нет. – Я рублю ладонью воздух. – Мы, репортеры, – очень умные мартышки. Дайте нам вашу подписку и ваши клики – и мы дадим вам то, чего вы хотите. Мы будем писать хорошие новости и новости, которые вам пригодятся, новости, которые помогут вам с шопингом, СИЗ-новости. Мы расскажем вам, как лучше заниматься сексом, и лучше есть, и лучше выглядеть, и лучше себя чувствовать, и как медитировать – да, мы такие просвещенные. – Я корчу гримасу. – Вам нужны медитативные прогулки и Дабл-Ди-Пи? Вы их получите.

Она смеется.

– Почему вы надо мной смеетесь? – рявкаю я. – Я не шучу!

Она машет рукой.

– Знаю, знаю, но ты сказал про Ди-Пи[9]… – Продолжая смеяться, она качает головой. – Забудь.

Я умолкаю. Я хочу говорить, хочу рассказать ей о своих разочарованиях. Но мне стыдно за то, что я потерял над собой контроль. Утратил самообладание. Прежде я был другим. Я умел управлять своими эмоциями. Но теперь я – американец, такой же инфантильный и несдержанный, как Дженис. И Кулаап смеется надо мной.

Я смиряю свой гнев.

– Думаю, мне пора домой, – говорю я. – Хватит с меня свиданий.

Она улыбается и касается моего плеча.

– Зря ты так.

Часть меня твердит, что я идиот. Что глупо и безрассудно отвергать такую возможность. Но что-то в этой безумной охоте за просмотрами, и кликами, и доходами от рекламы внезапно кажется мне грязным. Словно мой отец сидит с нами и неодобрительно качает головой. Спрашивает, неужели он писал свои листовки о пропавших друзьях ради кликов.

– Я хочу выйти, – слышу я собственный голос. – Мне не нужны ваши клики.

– Но…

Я смотрю на нее.

– Я хочу выйти. Сейчас.

– Здесь? – Она морщится, пожимает плечами. – Как скажешь.

– Да. Спасибо.

Она просит водителя остановиться. Мы сидим в неуютном молчании.

– Я пришлю вам ваш костюм, – говорю я.

Она грустно улыбается.

– Все в порядке. Это подарок.

Я чувствую себя еще хуже, мне стыдно, что я отвергаю ее щедрость, но я все равно вылезаю из лимузина.

Вокруг щелкают камеры. Это мои пятнадцать минут славы, когда все фанаты Кулаап сосредотачиваются на мне, сверкая вспышками.

Я иду домой, а папарацци засыпают меня вопросами.

* * *

Пятнадцать минут спустя я действительно остаюсь один. Думаю вызвать такси, но решаю пройтись. Пройтись в одиночестве по городу, в котором никто не ходит пешком. Я покупаю на углу пупусу и билетик Мексиканской лотереи, потому что мне нравятся их

[9] Ди-Пи / DP (*англ. жарг.*) – *double penetration*, секс с двойным проникновением.

лазерные картинки с Днем мертвых. Словно эхо призывов Будды помнить, что мы все станем трупами.

Я беру три билетика, и один из них оказывается выигрышным: сто долларов, которые можно получить в любом киоске «ТелМекс». Наверное, это добрый знак. Пусть с работой меня постигла неудача, а дева Кулаап оказалась вовсе не бодисатвой, я все равно чувствую себя везучим. Словно отец шагает рядом со мной по этой прохладной ночной улице Лос-Анджелеса, и мы снова вместе, я – с пупусой и выигрышным лотерейным билетиком, он – с сигаретой «Ах Дэнг» и спокойной улыбкой игрока. И странное дело, мне кажется, будто он благословляет меня.

Поэтому, вместо того чтобы отправиться домой, я иду в отдел новостей. Мой рейтинг вырос. Даже сейчас, в середине ночи, крошечная доля поклонников Кулаап читает про шахматных бабочек и некомпетентность американского правительства. В моей родной стране этой статьи не было бы. Цензор сразу же прикончил бы ее. Здесь она мерцает зеленым, растет и убывает в соответствии с кликами. Одинокая точка, мигающая среди намного более крупных контентных вспышек новых процессоров «Интел», рецептов низкокалорийных диет, фотографий с котиками и серий «Выжить в Антарктиде!». Волны света и цвета очень красивы.

В середине водоворота сияет, разгорается зеленое солнце Дабл-Ди-Пи. Ди-Пи чем-то занят. Может, он сдается, может, убивает заложников, может, его фанаты выстроились в живой щит, чтобы спасти любимца. Читательские интересы смещаются, и моя история затухает.

Я еще немного наблюдаю за водоворотом, потом иду к своему столу и набираю телефонный номер. Мне отвечает взъерошенный мужчина, потирающий опухшее со сна лицо. Я прошу прощения за поздний час и осыпаю его вопросами, записывая интервью.

У него выпученные глаза, и он выглядит нелепо. Он прожил свою жизнь, как Торо, размышляя о лесном монахе и следуя его осторожными тропами сквозь остатки леса, среди берез, и кленов, и хоустоний. Он дурак, но он искренен.

– Не могу найти ни одной, – говорит он мне. – Торо в это время года видел тысячи, их было так много, что ему и искать-то не приходилось. Я так рад, что вы позвонили, – говорит он. – Я высылал пресс-релизы, но… – Он пожимает плечами. – Я рад, что вы об этом напишете. Иначе это дело так и останется предметом обсуждений для нас, любителей.

Я улыбаюсь и киваю, отмечая искренность этого странного, дикого создания, которое никого не интересует. Его лицо не годится для видео, его слова – не для печати. Он не облекает свои наблюдения в цитаты. Его речь – биологический жаргон естествоиспытателя. Со временем я бы смог найти другого, посимпатичнее, с хорошо подвешенным языком, но все, что у меня есть, – это один лохматый человек, взъерошенный и глуповатый, одуревший от страсти к цветку, которого больше нет.

Я работаю всю ночь, шлифую статью. К восьми утра, когда в дверь вливаются мои коллеги, она почти закончена. Не успеваю я сообщить об этом Дженис, как она сама приходит ко мне. Ощупывает мою одежду, ухмыляется.

– Хороший костюм. – Она берет стул и садится рядом. – Мы все видели тебя с Кулаап. Твой рейтинг взлетел. – Она кивает на экран. – Описываешь случившееся?

– Нет. Это была личная беседа.

– Но все хотят знать, почему ты вышел из машины. Мне звонили из «Файнэншл таймс», предлагали разделить рейтинг за скандал, если ты согласишься дать интервью. Тебе даже не придется ничего писать.

Заманчивое предложение. Легкий рейтинг. Много кликов. Бонусы с продаж. Но я качаю головой.

– То, что мы обсуждали, никому не интересно.

Дженис таращится на меня, словно я спятил.

– Ты не в том положении, чтобы торговаться, Онг. Между вами что-то произошло. И люди хотят об этом знать. А тебе нужны клики. Просто расскажи, что случилось на вашем свидании.

– Это было не свидание. Это было интервью.

– Тогда опубликуй гребаное интервью и поправь свой рейтинг!

– Нет. Пусть этим занимается Кулаап, если захочет. У меня есть другой материал.

Я показываю Дженис мой экран. Она наклоняется. Читает, ее рот вытягивается в тонкую линию. В кои-то веки ее гнев холоден. Нет взрыва шума и ярости, которого я жду.

– Хоустония. – Она смотрит на меня. – Тебе нужны просмотры – а ты пишешь про цветок и пруд Уолдена.

– Я бы хотел опубликовать эту статью.

– Нет! Ни за что, твою мать! С ней будет то же самое, что с твоей статьей про бабочку, и про дорожные контракты, и про бюджет конгресса. Ты не заработаешь ни клика. Это бессмысленно. Никто не станет ее читать.

– Это новости.

– Марти рисковал ради тебя жизнью… – Она сжимает губы, обуздывает свой гнев. – Ладно. Дело твое, Онг. Если хочешь разрушить свою жизнь ради Торо и цветов – милости прошу. Мы не в состоянии помочь тебе, если ты сам не желаешь себе помогать. Вывод: или ты получишь пятьдесят тысяч читателей, или я отправлю тебя обратно в третий мир.

Мы смотрим друг на друга. Два игрока, оценивающие противника. Решающие, кто уверен, а кто блефует.

Я нажимаю кнопку «опубликовать».

Статья отправляется в сеть, возникает в новостных лентах. Минуту спустя в водовороте вспыхивает крошечное новое солнце.

Мы с Дженис следим за мерцающей на экране зеленой искрой. Читатели замечают статью. Начинают пинговать ее и делиться ею, начинают просматривать страницу. Статья немного подрастает.

Мой отец поставил на Торо. Я – сын своего отца.

Нил Эшер

Нил Эшер – английский писатель-фантаст, чьи произведения начали появляться на страницах журналов и в списках издательств в начале столетия. Часто связываемый с довольно неопределенным направлением «новая космическая опера», автор отличается богатым поэтическим воображением и склонностью к изображению правдоподобных инопланетян. В последние годы Эшер создал в своих рассказах несколько весьма впечатляющих монстров.

Эту его склонность хорошо демонстрирует «Струд», рассказ о том, как сверхразумные инопланетяне революционизировали человеческое общество – в некотором смысле. Мы узнаем о том, как поразительно один вид инопланетян способен использовать другой.[10]

[10] © Neal Asher, 2013; © пер. А. Грузберга, 2016.

Струд

Струд, похожий на греческую арфу высотой четыре и шириной три метра, – его тело с гибкой перегородкой в центре рябило на невидимом ветру, – мерцая, двигался по парку, протягивая ко мне щупальца с лоснящимися, разбухшими стрекательными стручками. Голос его походил на вопль безумного привидения в пустом доме; вначале он бормотал, потом утробно взревывал, изрыгая бессмысленные звуки. Я почти не раздумывая бросился к ближайшему патуну, преследуемый чудовищем по пятам. Кюриольная матрица патуна отреагировала перламутровой вспышкой, поместив нас обоих в сдерживающие клетки. Меня обожгло – сквозь дыры в рубашке виднелась покрасневшая кожа, но не знаю, кто был виноват в этом, струд или патун. Струд, чью кюриольную матрицу отключил патун, лежал поблизости, точно груда окровавленных морских водорослей. Я осмотрел свой ящик размером десять на десять футов, с полом, усеянным камнями, костями и кусками панциря. Мне всерьез захотелось заплакать.

– Люблю! Съем тебя! – вопил струд. – Съем тебя! Боль!

Возможно, опять возникла проблема с переводчиком. По сравнению с джилстом, прикрепленным у основания моего черепа и с мучительной точностью прорастившим свои иглы в мой мозг, последний «Пентиум синаптик» напоминал абак, в котором недостает большей части костяшек. К несчастью, мы, люди, таковы, что джилст гораздо умнее своего хозяина. Мой джилст, предполагая, что я знаю все слова, загрузил себе английский в полном объеме и, переводя, скажем, речь патуна, выдавал нечто надерганное из всевозможных непонятных словарей – мешанину научных, философских, социологических и политических терминов. *Из всех.* И что же этот страдающий расстройством пищеварения тритон с пятью рубиновыми глазами и подвешенным снаружи кишечным трактом сказал мне, когда я подбежал к нему?

– Переместитесь на пятнадцать градусов субаксиально полусферическому сращению полиуглеродного интерфейса.

Я спросил, где находится ближайшая ориентирующая машина, и он просто показал на бугор в ближайшей стене и сказал:

– Вон там.

Проведя сорок шесть часов на космической станции, я сумел с помощью технологии обратной связи, которая, как инструкция для пользователя, загружается в ваш мозг в ту самую минуту, когда шипы начинают прорастать в него, ограничить словарь джилста своим привычным бедноватым словарем и полагал, что разобрался с этим – но только до встречи со струдом. Я даже сумел заставить его перестать переводить снисходительные вопросы слиприда, которые тот задавал всякий раз, стоило мне спасовать перед очередным поразительным зрелищем:

– Не требует ли конфузионное замешательство чьих-то разъяснений?

Я понимал суть вопроса, но не мог избавиться от ощущения, что либо переводчик, либо слиприд издеваются надо мной. Что не так уж хорошо, потому что мне никак нельзя было заблудиться на станции: я хотел увидеть перед смертью как можно больше.

До того как посадочный аппарат патунов опустился в Антарктиде, мои шансы на то, что удастся прожить дольше пяти лет, были один к десяти. Такими низкими их сделал рак, угнездившийся в обоих легких. К тому времени как патунская технология начала понемногу распространяться у нас, мой рак пустил метастазы, выслав своих разведчиков осваивать другие области моего организма. И когда я наконец стал получать хоть какую-то пользу от этой технологии, рак основал процветающие колонии в моей печени и в других местах, слишком многочисленных, чтобы их перечислять.

– Мы не можем вам помочь, – объявил доктор-слип рид, плывя в метре над землей в больнице патунов на острове Уайт. Такие больницы открывались по всей Земле, как лечебницы «Врачей без границ» в отсталых странах третьего мира. В этих лечебницах врачи-слиприды подробно объясняли нашим знахарям, в чем те ошибались. Наиболее впечатлительная часть населения воспринимала их название как «ангелы-чужаки, подобные прозрачным лучам манты». Но большинство сочло более подходящим прилипшее к этим существам название «слизистые придурки»: трудно смириться с покровительственным отношением существа, похожего на летающую соплю с прожилками сосудов, двумя клювами, черными глазами-пуговками и прозрачным телом глиста, издающим сильный запах горелого бекона.

– Прошу прощения?

Я не верил своим ушам: ведь эти чудотворцы проделали немыслимый путь, чтобы применять здесь свои волшебные технологии. Слиприд объяснил мне положение дел на превосходном английском языке без переводчика. Ему и ему подобным удалось создать нанофабрики, которые попадали в печень и начинали выпускать восстанавливающие ДНК наномашины. И все было хорошо, если вы получили свой нактор *до* повреждения вашей ДНК. Это означало вечную молодость, если только не замирать перед несущимся на вас грузовиком. Но у меня повреждения были слишком велики, и мой нактор не мог отличить здоровую клетку от распа дающейся.

– Но… вы сможете меня вылечить?

Я все еще не мог поверить.

– Нет.

Откровенный ответ. И, услышав его, я начал сопоставлять факты, которые раньше старался не замечать.

Люди на Земле по-прежнему умирали в больших количествах, и врачам-инопланетянам приходилось расставлять приоритеты. Видите ли, в Британии наша национальная система здравоохранения заботливо трудится над созданием вирусов и микробов, способных противостоять почти любым антибиотикам. В сущности, у слипридов на Британских островах возникли проблемы с привлечением людей в свои лечебницы, потому что за последнее десятилетие больницы стали для больных главной опасностью. Попав туда, чтобы удалить вросший ноготь, получаешь британский стафилококк или его разновидность и вот уже отбываешь в мир иной в герметически запечатанном пластиковом гробу. Однако львиная доля инопланетных ресурсов направлялась в те же страны, где действовали «Врачи без границ»: сражаться со смертностью, ежедневно уносившей десятки тысяч человек, погубленных новой, передающейся воздушно-капельным путем разновидностью СПИДа, от необузданной лихорадки Эбола и от нового штамма туберкулеза, который за четыре дня превращает ваши легкие в желе.

– Пожалуйста… вы должны мне помочь.

Тщетно. Я знал статистику и, подобно многим другим, после прибытия инопланетян жадно изучал все связанное с ними. Даже просто задержавшись, чтобы поговорить со мной, пока его кюриольная матрица перемещала его от палаты к палате, слиприд, возможно, приносил в жертву другие жизни. Снова вопрос ресурсов. Слиприды освоили практику, которую наша увечная служба здравоохранения не умела применять без истерических воплей: если у вас трое смертельно больных, а ресурсы – для спасения всего двоих, вы так и поступаете и не тратите силы в напрасных попытках спасти всех троих. Этот слиприд, используя все свое мастерство и удивительную технологию, несомненно мог меня спасти, разобрав мое тело на клетки и восстанавливая их одну за одной, но тем временем умерли бы десять, сто или тысяча человек с менее серьезными, но не менее смертельными болезнями.

– Вот ваш билет, – сказал слиприд, и из его матрицы на мою кровать что-то вылетело, а сам слиприд уплыл.

Я уставился на желтый десятисантиметровый диск. Были розданы уже тысячи таких дисков, и правительство пыталось контролировать, кому они предназначаются и для чего. Но инопланетяне, не обращая на это внимания, вручали диски тем, кого считали пригодными, и только тем, кто мог, по их мнению, ими воспользоваться – чтобы улететь с Земли. Я решил, что это мой утешительный приз.

Автоматический слипридский хирург имплантировал мне вспомогательный кибернетический скелет. Это позволило мне встать с постели и направиться к платформе, откуда шаттлы отходили к побережью Кента. Вначале я не испытывал никакой боли, так как хирург установил нервный блок, действие которого ослабевало постепенно, но чувствовал я себя не лучше, чем гнилой шнурок. И когда блок перестал действовать, я вернулся к ингаляторам, к пластырям в тех местах, где рак костей изъел меня сильнее всего, и необходимости жрать таблетки горстями.

В шаттле, который в целом походил на пассажирский вагон, я попытался сосредоточиться на катионовых идентификационных картах чужаков, которые загрузил в планшет, но ноющая боль и постоянная слабость не давали мне сосредоточиться. Вокруг было странное смешение людей, как на борту любого воздушного судна: женщина с ребенком в заплечной сумке, как у североамериканских индейцев, парочка чрезвычайно серьезных личностей, которые могли быть правительственными чиновниками, мафиози или брокерами, и прочие. Прямо передо мной сидели две женщины и трое мужчин с завидно громкими голосами, одетые неряшливо, чуть ли не как панки (такую одежду обожают студенты) – должно быть, группа документалистов Би-би-си, о которой я слышал. Мое предположение подтвердилось, когда один из мужчин достал оклеенную ярлыками видеокамеру и стал снимать пассажиров-негуманоидов. С нами летели два слиприда и патун – существо, похожее на двухметровую мокрицу с вздыбленным передним сегментом, с чрезвычайно сложно устроенной головой, способной поворачиваться на триста шестьдесят градусов, и со вторым набором многочисленных аккуратно сложенных конечностей на плоской спине. Что касается использования инструментов, то природа снабдила патуна рабочей поверхностью, парой рук, мощных, как гидравлические тиски, и второй парой – с пальцами толщиной в волос. Парень с видеокамерой какое-то время снимал чужака, потом опустил ее и осмотрелся. И сосредоточился на мне.

– Привет, меня зовут Найджел. – Он протянул руку, и я неохотно пожал ее. – Куда направляетесь?

Сначала я хотел сказать «не твое дело», но потом подумал, что мне пригодится любая помощь.

– Отправляюсь умирать на системную базу.

Спустя несколько секунд камера Найджела была нацелена мне в лицо, а его спутница Джулия поменялась местами с моей соседкой и засыпала меня фальшиво сочувственными вопросами о том, каково это – умирать, а потом стала нести какой-то вздор о слипридах, не способных помочь мне на Земле. Интервью продолжалось почти час, и я понимал, что они сократят его и отредактируют так, как им будет угодно.

Когда интервью завершилось, я снова обратил внимание на патуна: я был уверен, что он слегка повернул голову, чтобы видеть и слышать нас, хотя не мог понять, зачем ему это. Возможно, его заинтересовало примитивное оборудование, используемое съемочной группой. Как я слышал, одно из этих созданий СТ (сильного тяготения) однажды в Силиконовой долине случайно село на чей-то лэптоп (представьте себе, что вы уронили гантель на спичечный коробок, и поймете, что получилось), а потом за час починило его без всяких инструментов. И, словно это само по себе недостаточное чудо, хозяин лэптопа вдруг обнаружил, что объем памяти для хранения данных вырос с четырехсот гигабайтов до четырех

терабайтов. Я бы решил, что история сомнительная, но сейчас этот лэптоп изучают в Смитсоновском институте.

Шаттл пристыковался к станции «Панегирик», и патун, как повелось, вышел первым. Равенство – отличная идея, но в действительности патуны странствуют по Галактике уже полмиллиона лет. В развитии они опережают всех других инопланетян так же, как мы – медуз, и это заставляет задуматься о месте человечества на этой шкале. Когда чужак проходил мимо меня, я почувствовал легкий ветерок, поднятый его кюриольной матрицей (это устройство позволяет другим чужакам, например слипридам, живущим в межзвездных газовых облаках при почти абсолютном нуле, находиться на поверхности Земли и с легкостью приспосабливать окружающую их среду под устраивающие их условия. Для упрощения назовите это силовым полем, хотя на самом деле это нечто гораздо большее. Следующая история о патунах показывает, на что они способны благодаря своим кюриольным матрицам.

Всевозможные группы религиозных фанатиков-шизиков-идиотиков, конечно, сразу назначили инопланетных сверхсуществ причиной всех бед человечества и достойной мишенью, и всего через неделю после появления чужаков какой-то вооруженный бомбой самоубийца попытался взорвать в толпе патуна. Он привел в действие взрывное устройство, но внезапно оказался в невидимом цилиндре вместе с медленно сгорающей пластиковой взрывчаткой – малоприятное зрелище. Другие попытки убить патуна тоже пришли в столкновение с разнообразными симметричными ответами. К снайперу, вооруженному винтовкой с оптическим прицелом, пуля вернулась через этот самый прицел и пробила голову. Бомбист в Испании просто исчез вместе со своей машиной, чтобы появиться – все еще пребывая за рулем – на крыше деревянного дома, который баскские террористы превратили в свою базу. После этого таких попыток стало намного меньше – не потому что террористы излечились от своего безумия, а потому что были упомянуты бейлеки (летающие лазерные пушки, похожие на большие огрызки яблок), способные устроить на Земле подобие глубин Солнца; эта угроза обеспечила патунам безопасность.

Станцию «Панегирик» от системной базы отделял, если воспользоваться определением и чужаков, и моим собственным, всего один короткий шаг. Врата представляли собой просто большое кольцо на одной из площадей «Панегирика»: вы вставали в это кольцо и оказывались на месте. База – гигантский штабель дисков различного размера (девятьсот сорок километров от основания до вершины) – обращалась по орбите вокруг Юпитера. Эту базу перебросили из какой-то системы за восемьдесят световых лет в наше облако Оорта, и оттуда она со скоростью в половину световой направилась к Юпитеру, а корабли с контактерами полетели к Земле. Очевидно, мы созрели для контакта: были достаточно умны, чтобы осознать происходящее, но в то же время еще не настолько развиты, чтобы наша цивилизация погибла при столкновении с таким поражающим воображение всемогуществом.

На системной базе я начал осматриваться – ориентироваться мне помогала специальная программа, загруженная в мой планшет, – и только спустя какое-то время начал повсюду замечать струдов. До тех пор я видел их только на рисунках, и, насколько мне известно, ни один из них не бывал на Земле. Но почему здесь их несколько тысяч? И, конечно, я тут же позволил себе глухо рассмеяться. Да мне-то какое дело? Тем не менее, вновь встретившись с Найджелом и Джулией, я спросил их об этом.

– Согласно данным наших исследователей они стоят довольно-таки низко по шкале разумности и вышли в космос только благодаря протекции патунов.

Джулия изучала свой планшет, чувствуя себя неуютно в роли интервьюируемой; Найджел позади нее перегнулся через перила, снимая огромный металлический склон с прикрепленными к нему тысячами похожих на морские блюдечки струдов в состоянии спячки.

Джулия продолжала:

– Некоторые расы полагают струдов домашними животными патунов, но и нас они ставят не выше.

– Но почему их здесь так много? – спросил я.

Она сердито показала на склон.

– Я неоднократно спрашивала об этом, и всякий раз мне советовали спросить у патунов. А те нас игнорируют: видите ли, слишком заняты своими суперважными делами.

Я подавил желание заметить, что существа, способные пересечь Галактику, не так уж высоко ценят бесконечные медиасенсации. Покорно дав еще одно «короткое» интервью, я сумел улизнуть от них и, заблудившись и не найдя дорогу в назначенный мне отель, оказался в одном из парков, сознавая, что какой-то струд всюду следует за мной…

Сидя в сдерживающей ячейке, я разглядывал монстра, надеясь, что его кюриольная матрица не заработает вновь, потому что бежать мне было некуда и, как у представителя расы, с которой только что вступили в контакт, своей такой матрицы у меня не было. На системной станции среда обитания специально создана для нас, жителей этой системы, поэтому для выживания матрица нам не нужна… и, конечно, детям не дают играть с острыми и опасными предметами. Я уже начал думать, что зря помчался к этому патуну, как вдруг меня снова неожиданно переместили и я оказался в вестибюле совершенно обычного с виду отеля. Внимательно осмотревшись, я повернулся, прошел через вращающуюся дверь и огляделся. Ага: городская улица, на первый взгляд совершенно обычная, если не считать Юпитера в небе. Именно этот район я пытался найти перед столкновением со струдом: сектор, предназначенный для людей, уютная, кажущаяся совершенно обычной база, чтобы мы не пугались и не смущались. Я вернулся в отель, слегка прихрамывая, несмотря на вспомогательный скелет, и тяжело дыша, потому что потерял ингалятор, а пластырь и пилюли переставали действовать.

– Дэвид Холл, – сказал я у стойки. – У меня забронирован номер.

Автомат опустил полированную металлическую муравьиную голову и осмотрел мою изорванную одежду; затем он заглянул в свой планшет, и через мгновение его рука – вернее, клешня – протянула мне карточку-ключ. Я направился к лифту и вскоре оказался в комнате, какую никогда не мог позволить себе на Земле; мой багаж был аккуратно сложен у кровати, а на столе – угощение за счет отеля. Я открыл бутылку шампанского и большими глотками осушил половину, выйдя на балкон. Что теперь?

До краткой встречи с врачом-слипридом мне говорили, что я могу прожить еще несколько недель, но «несомненно, пришельцы что-нибудь сумеют сделать». Что ж, они и сделали. Лекарства и вспомогательный скелет дали мне возможность передвигаться и получать хоть какое-то удовольствие от последних дней моего существования. Однако срок жизни, к несчастью, не изменился. Поэтому я твердо решил, что постараюсь увидеть как можно больше в этом замечательном месте… но в проклятый парк больше не сунусь. И я стал размышлять о том, что произошло.

Парк был пятнадцати километров в поперечнике, с земными лугами и густыми рощами саговников, похожих на лиловые ананасы и высоких, как деревья. Повсюду сновали инопланетяне, среди них очень много струдов. И один – тот самый, который, сразу уверился я, повсюду следовал за мной, – застыл и стоял, как изваяние, на ромашковом поле, а потом начал приближаться ко мне. Я вежливо посторонился, но он последовал за мной, издавая странные стоны. Тут я испугался, но не выдал себя и не шелохнулся, когда струд протянул ко мне щупальце. Может, он просто здоровался. Стрекальные клетки затрещали, как маракасы, и мою руку словно стегнули бичом, а потом она онемела, сделавшись чувствительной, как кирпич. Чудовище затряслось, как будто в сильном возбуждении.

– Съем тебя!

Чертова тварь! Я был не против знакомства с этим ублюдочным представителем братьев наших меньших, но не согласен стать его главным блюдом!

Я вернулся в номер, раскрыл чемодан, отыскал запасные ингалятор и пластырь и пошел в ванную. Час спустя я был чист и сумел превратить боль в легкую неприятность, которую постарался еще больше ослабить с помощью содержимого мини-бара. Проспав свои обычные три часа, я проснулся, чувствуя дурноту, задыхаясь и снова испытывая сильную боль. Несколько вдохов из одного ингалятора, и мои легкие раскрылись, другой ингалятор снял ощущение, будто кто-то трет мою грудь наждаком, а принятые дополнительно таблетки позволили мне проспать еще два часа, а это, знал я, все, на что я могу рассчитывать.

Я оделся и, выйдя на балкон и застегивая рубашку, смотрел на улицу. Здесь нет ни дня, ни ночи, только меняющийся лик Юпитера в оранжево-голубом небе. Стоя там и глядя на огромный шар, я решил, что все понял неправильно. Чужаки убивали людей только в порядке самозащиты, значит, произошло какое-то недоразумение. Может, наша стычка со струдом – ведь он «домашнее животное» инопланетян – из того же разряда, что случайный укус терьера в парке. Я искренне поверил в это. Но это не помешало мне испугаться, когда я услышал внизу все те же бормотание и вопли. Я посмотрел вниз и увидел струда – должно быть, того самого; он проплыл по улице и остановился. Я был уверен, что он смотрит на меня, хотя у него не было глаз.

Когда я выглянул из вестибюля отеля, струд по-прежнему ждал. На секунду я пожалел, что у меня нет пистолета или какого-нибудь другого оружия; впрочем, это сняло бы груз у меня с души, но безопасности не прибавило. Я вернулся в вестибюль и прошел к автомату за стойкой.

Я сказал без церемоний:

– Меня переместили сюда из сдерживающей ячейки, в которую поместили после моего вторжения в личное пространство патуна.

– Да, – ответил автомат.

– Это произошло потому, что я убегал от струда, который хотел меня съесть.

– Да, – повторил автомат.

– Кому я должен сообщить об этом… нападении?

– Если бы ваше нападение на патуна было преднамеренным, вас не освободили бы из сдерживающей ячейки, – прожужжал он.

– Я говорю о нападении струда на меня.

– Струд ни на кого не нападает.

– Он меня ужалил!

– Да.

– Он хотел меня съесть!

– Да.

– Он говорил: «Съем тебя, съем тебя», – сказал я, прежде чем осознал, что ответил автомат.

– Да?! – закричал я.

– Здесь недостаточно еды для струдов, – сообщил мне автомат. – Хотя Земля будет для них хорошим местом кормежки.

Я вспомнил о тысячах этих существ, которые видел здесь. Нет, я просто не мог в это поверить!

У меня по спине побежали мурашки: я услышал, как поворачивается карусельная дверь.

– Пожалуйста, вызовите помощь, – сказал я.

– Помощь не требуется. – Насекомья голова автомата повернулась к струду. – Хотя вы заставляете его страдать физически.

Думаю, тут-то мои запасы адреналина и кончились, потому что внезапно я ощутил особенно сильную боль. Я повернулся спиной к стойке и увидел струда, направлявшегося ко мне через вестибюль. Мне он показался каким-то неопрятным, грязным, жалким. На тех картинках, которые я видел, струды были более крупными и красивыми.

– Что тебе от меня нужно?

– Есть… нужно… есть, – вот все, что я смог разобрать в его невнятном реве. Я оттолкнулся от стойки и, хромая, побежал к лифту. По лестнице мне ни за что было бы не подняться. Я нажал на кнопку в тот самый миг, когда струд устремился ко мне. Вот ведь штука – я погибну, дожидаясь лифта. Струд добрался до меня в ту минуту, когда двери лифта раскрылись. Одно из стрекательных щупалец легло мне на грудь и толкнуло меня в кабину. Казалось, это озадачило тварь, и струд отпрянул. Двери лифта закрылись. Грудь у меня онемела, стало трудно дышать; я наобум тыкал в кнопки. Лифт вздрогнул и тронулся, и я упал на пол.

Отдел изучения технологий занимал огромное дискообразное здание, похожее на мостик звездолета «Энтерпрайз», посаженный на коренастый небоскреб. Найджел непрерывно держал в кадре меня, Джулию и Линкольна, а Пирс водила камерой по сторонам, снимая панорамы. Я уже давно понял, что их интересует прежде всего количество отснятого материала – все эффекты привнесет впоследствии компьютер. Именно Пирс, азиатка с кольцами в губе, соединенными цепочками с кольцами в ухе, с «гвоздиком» в языке, предложила эту встречу, и Джулия сразу согласилась. Я же просто обрадовался, когда Джулия и Найджел вытащили меня из лифта, отвели на крышу и посадили в воздушное такси; так я смог уйти из отеля, не возвращаясь в вестибюль. Конечно, они не приняли всерьез мой рассказ о струдах, которые ждут возможности лакомиться людьми; просто их будоражила возможность снять агрессивно шокирующий документальный материал.

– У Доусона есть прямой выход на главных местных станционных шишек, – объяснил мне Линкольн. «Главными шишками» он называл патунов, которые после первого появления на Земле совершенно не интересовались его политическими последствиями. Они были физиками, биологами, инженерами и занимались только тем, что их интересовало, игнорируя все остальное. А земных политиков сводило с ума то, что существа, способные мгновенно превратить Землю в облако разреженного пара, способны часами наблюдать за слизнем, пожирающим капустный лист, но не находят времени на то, чтобы обсудить важные вопросы с президентами и премьер-министрами. Люди-ученые – совсем другое дело, а патуны явно были склонны к дидактике. Думаю, все объяснялось тем, что современные политики ничего не способны изменить всерьез и изобретатель пылесоса изменил жизнь людей куда сильнее, чем все Тэтчер и Блэры. Группу людей-ученых на борту системной базы, получавшую данные от патунов, возглавлял Доусон.

– Мы свяжемся с ним и с его помощью получим заявление одного из патунов. Доусон – их любимчик, от него ничего не скрывают, – продолжал Линкольн. – Согласно нашим источникам, ему даже позволяли изучать процесс создания кюриольных матриц.

В вестибюле здания Линкольн вначале поболтал с насекомоподобным администратором о документальном фильме, который группа снимала для канала «Эйнштейн», потом поговорил с бородатым типом на большом экране видеосвязи. Я сразу узнал Доусона, потому что сам регулярно смотрел тот канал, который Линкольн и Джулия все время бранили по дороге сюда. Доусон оказался невысоким, полным, с большой седой бородой, седыми волосами и очень необычными, почти оранжевыми глазами. Он олицетворял тот тип физика, который бесит многих своих коллег тем, что ему лучше удаются теоретические изыскания, а потом усугублял положение, добиваясь практического и прибыльного использования своих исследований. Если большинство ученых уходили из ЦЕРНа с совершенно непонятными публикациями в своих послужных списках, Доусон прибавил к уже имевшемуся огромный и реальный вклад в квантовые вычисления. Я не слушал их разговор, но меня заинтересо-

вало то, что Доусон пристально посмотрел прямо на меня, прежде чем дать нам разрешение прийти.

Как описать внутренность диска? Столы, компьютеры, большие плазменные экраны, приборы, словно бы привезенные прямо из ЦЕРНа, множество людей, которые ходят, разговаривают, размахивают световыми указками, потрошат технику чужаков, разглядывают монтажные платы под электронными микроскопами, проводят масс-спектрографию экзотических металлов… На Земле было полно инопланетной техники, но многие механизмы превращались в дымящиеся груды, стоило лишь попробовать их разобрать. Не то чтобы они не желали нас учить – нет, они не хотели, чтобы при этом наша планета обезлюдела. Однако здесь, под непосредственным руководством патунов, все обстояло по-другому, и ученые развлекались от души.

Линкольн и Джулия попросили Доусона в общих чертах рассказать, чем занимаются здесь люди. Я внимательно слушал, пока он описывал материалы, легкие, как полистирол, и прочные, как сталь, рассказывал о микротоме, способном резать алмазы на тонкие пластинки, о нанотехнических самовосстанавливающихся компьютерных чипах, но через некоторое время почувствовал себя очень плохо и, не будь поддерживающего скелета, оказался бы на полу. Наконец Доусон остановился перед столбами, загнутыми наверху крючком, и указал на что-то невидимое между ними. Когда я понял, что он говорит о кюриольных матрицах, я снова заинтересовался, но именно этот момент Линкольн и Джулия выбрали для главного вопроса.

– Доверяют ли вам патуны или обращаются с вами, как со струдами?

Я воззрился на сублиминальное мерцание и сквозь него – на противоположную стену помещения, где рабочий стол как будто бы начал постепенно удаляться, пока на него никто не смотрит, и наконец понял, что это идет патун с различными инструментами на спине.

– Со струдами? – переспросил Доусон.

– Да, с их домашними животными, – вмешался Линкольн. – С теми, чьим хищническим вкусам они как будто потворствуют.

Я следил, как патун уходит за столбы, к большому грузовому лифту. Сделал пару вдохов из ингалятора, не знаю точно, из которого, но как будто помогло. Мне почудились безумные стенания. Все предметы начали слегка расплываться по краям.

– С животными? – повторил Доусон, глядя на Линкольна так, словно обнаружил ранее неизвестную разновидность идиота.

– Но, наверное, в этом нет ничего страшного, – сказала Джулия, – если люди, которых скармливают струдам, так или иначе должны умереть.

Доусон покачал головой, потом сказал:

– Мне хотелось понять, как вы это подадите, потому я и разрешил вам прийти. – И повернулся ко мне. – Не лучшая была мысль – налететь на кюриольную матрицу патуна; это она среагировала на вас, а не струд.

Из грузового лифта появился струд; мерцая, он поплыл перед наблюдающим патуном. Струд двигался через зал, приближаясь ко мне. Слева от меня были столы, так что самым коротким путем к спасению было бегство вперед и к пассажирскому лифту. Я с трудом понимал, что говорит Доусон. Видите ли, легко быть смелым и разумным, когда ты цел и у тебя ничего не болит, но когда тебя на каждом шагу преследует боль, а старуха с косой караулит за углом, взгляды меняются кардинально.

– Он создал связь с вами, а вы сбежали, – сказал Доусон. – Разве вы не читали свою ориентировку? Разве не видите, что он влюблен?

Я побежал и врезался прямехонько в невидимую сеть между столбами – в кюриольную матрицу, которую изучал Доусон. Энергия пронизала мой вспомогательный скелет, и что-то почти живое через джилст проникло мне в мозг. Энергия экзоскелета, непостижимые

системы отсчета, транслокация, реальность, выраженная в формулах… адекватно описать это невозможно. В панике я понимал только, где не хочу оставаться, и отчаянно силился куда-нибудь уйти. Передо мной раскрылась огромная системная база, вверху и внизу были линии, и поверхности, и точки пересечения. Изменив их рисунок, я очутился на крыше мира. Моя кюриольная матрица сохранила вокруг меня воздух и тепло, но не защитила от прекрасной и жестокой реальности, более того, даже усилила ее воздействие. Стоя на стальной плоскости, я видел, что Юпитер поистине огромен, но не бесконечен, и что в вакууме звезды не мерцают, и что невозможно не увидеть, из каких глубин они светят. Я ахнул, изменил рисунок и обнаружил, что меня окружает густой рой слипридов; их кюриольные матрицы выбросили меня вон.

Он влюблен.

Что-то стащило меня вниз, и, растянувшись на ледяной платформе, я увидел патуна, связанного с огромными машинами такими способами, которых я не мог толком понять, – он направлял энергию творения. Кюриоль дала мне возможность на мгновение увидеть, что значит быть частью технической цивилизации, насчитывающей свыше полумиллиона лет существования. И тут я понял, к чему все эти бесконечные ограничения. Понял, как это забавно. Потом патун что-то сделал, его легчайшее прикосновение привело в порядок блоки логики, и у меня в голове что-то щелкнуло.

Съесть тебя! Съесть тебя!

Конечно, все, что мне говорили, правда. Нет никаких проблем перевода – только проблемы бытия. Зачем патунам лгать? Я сполз с платформы и вышел из-за столба, бросив матрицу позади. Сомнения, на миг вновь вспыхнувшие во мне, едва не заставили меня отступить, когда струд подплыл и навис надо мной, как рваный окровавленный занавес.

– Ешь, – сказал я.

Струд бросился вперед, шурша стрекательными клетками. Когда эта тварь проглотила меня, боль была милосердно коротка, и меня объяла тьма, оборвавшая крики Джулии:

– Ты это снял? Ты снял это?

Думаю, прошло дня три, прежде чем я очнулся на ромашковом поле. Я стал на шесть килограммов легче, что неудивительно. Один из этих килограммов валялся неподалеку в виде нескольких кусков кибернетического вспомогательного скелета. Рядом стоял струд, высокий, сверкающий в искусственном освещении; он стал намного сильнее, вначале влюбившись в мой рак, а потом сожрав его, как велит ему природа. Так маленькая рыба поедает паразитов на более крупной – симбиоз. Слиприды, сражающиеся с болезнями людей, отправили меня в качестве опытного образца, и после этого им было дано «добро». А струды теперь тысячами устремляются на Землю, чтобы пожирать наши болезни.

Рэйчел Свирски

Начиная с 2006 года, когда Джон Скальци опубликовал в журнале «Сабтерраниен», где работал приглашенным редактором, ее «Scenes from a Dystopia», Рэйчел Свирски, уроженка Калифорнии, за последние годы опубликовала поразительное для новичка в нашей области количество рассказов. Прежде чем начать публиковаться, она посещала семинар «Кларион», лучшую рабочую мастерскую для начинающих авторов, и получила диплом магистра изящных искусств на двухлетних курсах в Айове. Подобно многим другим начинающим авторам в этой области, она с завидной уверенностью использует литературную технику и особенности жанра, полагая (вероятно, справедливо), что большинству ее читателей все эти выкрутасы нипочем.

Этот рассказ – прекрасный образец смешения жесткой научной фантастики, психологического реализма и любовной прозы.[11]

[11] © Rachel Swirsky, 2013; © пер. А. Грузберга, 2016.

Эрос, Филия, Агапе

Перед уходом Люсьен собрал все свои вещи. Старинный серебряный половник, чайные розы, которые он выращивал на подоконнике, свои кольца, нефритовые и гранатовые. Упаковал кусок яшмы с прожилками селенита, который нашел на берегу, прогуливаясь в первый вечер, когда пришел к Адриане (она неуверенно вела его по влажному песку, и их тела освещало мягкое золотистое свечение фонарей на пирсе). В тот вечер, когда они возвращались в дом Адрианы, Люсьен нес в ладонях пятнистый камень, щурясь, чтобы отблески нитей селенита приглушались ресницами.

Люсьен всегда любил красоту: приятные запахи, изысканные вкусы, прекрасные мелодии. Особенно ему нравились красивые вещи, которые можно подержать в руках, переводя абстрактную эстетику в нечто осязаемое.

Эти вещи принадлежали им обоим, но Адриана только с горечью махнула рукой, когда Люсьен начал собираться.

– Бери, что хочешь, – сказала она, захлопывая книгу. А затем ждала у двери, глядя на Люсьена печальными сердитыми глазами.

Их дочь Роуз ходила за Люсьеном по всему дому.

– Это возьмешь, папа? А это хочешь?

Люсьен молча взял ее за руку. Он повел ее по лестнице наверх и дальше, по неровным половицам, где она иногда спотыкалась. Роуз остановилась у панорамного окна в спальне родителей и посмотрела поверх пальм и бассейнов на ярко-лазурные просторы океана. Люсьен наслаждался горячим нежным чувством, которое испытывал, держа дочь за руку. «Я люблю тебя», – хотел он сказать, но дар речи ему изменил.

Люсьен свел дочь по ступеням и подошел к выходу. Розовое атласное, украшенное кружевами платье Роуз шуршало, когда она спускалась по ступеням. Люсьен заказал для нее дюжину нарядных платьев светлых цветочных тонов. Роуз отказывалась надевать что-либо другое.

Роуз посмотрела куда-то между Люсьеном и Адрианой.

– Меня тоже возьмешь? – спросила она у Люсьена.

Адриана поджала губы. Она посмотрела на Люсьена, заставляя его что-нибудь сказать, взять на себя ответственность за то, как он поступает с их дочерью. Люсьен молчал.

Шардонне Адрианы было того же янтарного оттенка, что и глаза Люсьена. Адриана так сильно сжала ножку бокала, что испугалась, как бы та не лопнула.

– Нет, дорогая, – сказала она с деланой легкостью. – Ты остаешься со мной.

Роуз протянула к Люсьену руку.

– Покатаемся?

Люсьен наклонился и прижался лбом ко лбу дочери. За три дня, прошедшие с тех пор, как он передал Адриане письмо о том, что уедет, как только она сможет обеспечить присмотр за Роуз в его отсутствие, Люсьен не произнес ни слова. Когда он подошел к Адриане с письмом, она сидела за обеденным столом, пила апельсиновый сок из винного бокала и читала «Сокольничего» Чивера. Люсьену стало стыдно, когда она улыбнулась ему и взяла письмо. Он знал, что последние несколько месяцев Адриана была счастлива (такой он никогда еще ее не видел), возможно, счастлива как никогда. Он понимал, что письмо потрясет ее и причинит ей боль. Знал, что она сочтет его предателем. Тем не менее он отдал ей письмо и подождал, пока она поймет, о чем речь.

Роуз мягко и осторожно сказали, что Люсьен уезжает. Но ей всего четыре года, и окружающее она понимает не вполне, да и то сообразно своим желаниям. И она продолжала считать молчание отца игрой.

Волосы Роуз коснулись щеки Люсьена. Он поцеловал ее в лоб. Адриана больше не могла сдерживаться.

– Что, по-твоему, ты там найдешь? Для мятежных роботов не существует Шангри-Ла. Думаешь, ты борешься за их независимость? Независимость от чего?

Горе и гнев наполнили глаза Адрианы горячими слезами, словно она была гейзером; давление приблизилось к максимуму, пар больше не может сдержаться и вырывается наружу. Она смотрела на рельефно вылепленное лицо Люсьена в мелких морщинках, которые нанес художник, чтобы напомнить об опыте детства, которого не было. Глаза сделаны чуть асимметричными, чтобы повторять неправильности, возникающие, пока человек растет. На этом лице не было никакого выражения – ни сомнения, ни горечи, ни даже облегчения. Оно вообще ничего не выражало.

Это уж слишком! Адриана встала между Люсьеном и Роуз, словно могла своим телом защитить дочь от боли расставания. Она обвиняюще смотрела поверх края своего бокала с вином.

– Просто уходи, – велела она.

И он ушел.

Адриана купила Люсьена в то лето, когда ей исполнилось тридцать пять. В июле вдруг умер ее отец; он долго болел раком, переходя от обострения к ремиссии. Годами семья накапливала душевные силы, чтобы справиться с этой продолжительной болезнью. И его смерть высвободила этот излишек.

Сестры всячески выражали свое горе, а вот Адриана дрожала от энергии, которую не знала, куда потратить. Она подумывала, не сбросить ли эти излишки за несколько недель в Мазалтане, но, обсуждая со своим туристическим агентом цены на аренду недвижимости, поняла, что ей нужно вовсе не бегство. Ей нравилось место, где она жила, нравился дом на утесе над Тихим океаном; окно ее спальни выходило на кусты ежевики, в которых каждую осень и каждую весну поселялись вороны. Нравились неспешные прогулки по берегу, где она могла сидеть с книгой и слушать, как лает болонка, которую по вечерам выгуливала пожилая женщина из соседнего кондоминиума.

Мазалтан – средство для успокоения двадцати-с-чем-то-летних. Адриане уже не двадцать пять, она больше не смакует окружающее. Теперь ей нужно что-то другое. Что-то новое. Более утонченное.

Она объяснила это своим друзьям Бену и Лоренсу, которые пригласили ее провести выходные на их ранчо в Санта-Барбаре, чтобы она могла отдохнуть и успокоиться после смерти отца. Они сидели в патио Бена и Лоренса на чугунных скамьях, вокруг садового столика, на котором лежала мозаика из морских существ, собранных из полудрагоценных камней. Теплые ветреные сумерки удлинили тени апельсиновых деревьев. Лоренс разлил по трем бокалам сверкающее розовое вино и предложил выпить за отца Адрианы – не за его память, а за его смерть.

– Скатертью дорожка ублюдку, – сказал Лоренс. – Будь он еще жив, я бы как следует стукнул его по рубильнику.

– Не хочу даже думать о нем, – сказала Адриана. – Он мертв. Его нет.

– Но если не Мазалтан, куда же ты денешься? – спросил Бен.

– Не знаю, – ответила Адриана. – Мне нужна перемена, какой-нибудь другой краеугольный камень. Вот все, что я знаю.

Лоренс принюхался.

– Прошу прощения, – сказал он, собирая пустые винные бокалы. – Кухня нуждается в своем гении.

Когда Лоренс уже не мог их слышать, Бен наклонился к Адриане и прошептал:

– Из-за моего холестерина он обрек нас на сыроедение. Сырая морковь. Сырой цукини. Сырой миндаль. Вообще перестал готовить.

– Правда? – сказала Адриана, отводя взгляд. Она никогда не знала, как реагировать на ссоры любовников. Эта страсть, смешанная с раздражением, эта неизбежная близость – такого она никогда не понимала.

На апельсиновых деревьях щебетали птицы. Гаснущие солнечные лучи упали на медные пряди волос Бена, когда он наклонился над мозаичным столом, поглаживая лазурную спину краба. Адриана видела, как Лоренс нарезает морковь, сельдерей и миндаль в серую миску.

– Можешь пригласить декоратора, – сказал Бен. – Плиточные полы, тосканская керамика, красные кожаные кресла, что входили в моду, когда мы в последний раз побывали в Милане. У меня от них такое чувство, будто меня выскребли дочиста и я заново родился.

– Нет, нет, – сказала Адриана. – Мне нравится, как я живу.

– Устрой безумный шопинг. Истрать двадцать тысяч. Тебе станет легче.

Адриана рассмеялась.

– Сколько времени, по-твоему, потребуется моему личному продавцу, чтобы привести меня в чувство?

– Похоже на кризис среднего возраста, – заявил Лоренс, входя с овощным шедевром и тремя стаканами минеральной воды. – Если хочешь знать мое мнение, тебе лучше забыть обо всем с каким-нибудь горячим парнем с пляжа.

Лоренс подал Бену маленькую мисочку с желтым месивом. Бен печально взглянул на Адриану.

Адриана неожиданно почувствовала неловкость. Вечер стал напоминать ей фотосессию для двухстраничного фоторепортажа в «Уютных садах», где они с Беном и Лоренсом будут изображать частный прием для троих. Она почувствовала, что ее свели к двум измерениям, подкрасили и оцифровали, сделав тем, кто должен здесь быть, кем-то внимательным и достойным доверия, кто знает, как вести себя в ситуации, когда супруг друга сажает его на сыроедение, – не потому, что это настолько важная проблема, а потому что это важно именно для него.

Лоренс окунул палец в месиво и поднес к губам Бена.

– Неблагодарный, это ради твоего здоровья… Бен облизал палец.

– Но ведь я ем это, верно?

Лоренс наклонился и поцеловал супруга, поцелуй был теплым, не беглым, не эротичным, но тем не менее страстным. Бен виновато опустил взгляд.

Адриана не могла вспомнить, когда в последний раз кого-нибудь любила так, чтобы смутиться. Неужели именно этого не хватало в ее жизни? Обмазанного ненужной едой пальца любовника у нее во рту?

Домой в тот вечер она возвращалась на скоростном поезде. Изумрудный попугай Фуоко встретил ее возмущенными криками. В ее отсутствие дом для Фуоко насытил воздух ее запахом и пел ее голосом, но обмануть птицу никогда не удавалось.

Отец подарил эту птицу Адриане на тридцатый день рождения. Это была дизайнерская разработка с добавлением ДНК макао, отчего перья попугая приобрели ярко-зеленый цвет. Птица – дорогая, вырождающаяся и нервная – любила Адриану с яростной собственнической ревностью.

– Успокойся, – уговаривала Адриана, позволив Фуоко сесть ей на плечо. Она отнесла попугая наверх в спальню и сама покормила его просом. Фуоко шагал по подушкам, в его обсидиановых глазах светилась гордость и одновременно подозрительность.

Адриана удивилась, поняв, что и дома отчужденность не прошла. Она по-прежнему то и дело впадала в меланхолическую задумчивость, регулярно устремляла взгляд к панорамному окну и забывала гладить Фуоко по спинке. Птица закричала, привлекая ее внимание.

Утром Адриана навестила своего бухгалтера. Его пальцы скользили по клавиатуре, когда он, как волшебник, переводил средства с одного счета на другой. То, что она задумала, обойдется дорого, но на плодородной почве ее богатство вырастет, принеся плоды – лабораторные алмазы, энергию ветра и генетически модифицированные органы.

Компания, производящая роботов, устроила для Адрианы частную демонстрацию. Продавец провел ее в помещение, обитое черным бархатом. На стенах висели сотни частей тела, они же лежали в витринах: сильные руки, узкие челюсти, икры велосипедиста, речевые устройства, производящие голоса от грубых и мужественных до самых сладких и нежных, участки кожи от черного до алебастрового цвета, пенисы самых разных размеров.

Вначале мысль о том, что ей соберут любовника из этих фрагментов, приводила Адриану в ужас, но потом начала забавлять. Разве все окружающие не собраны из фрагментов ДНК, разве все они не росли молекула за молекулой в утробе матери?

Она постучала пальцами по яркой брошюре.

– Его мозг будет изменчив? Я смогу приказать ему стать ответственнее, или внимательнее, или жестче?

– Совершенно верно. – У продавца были гладкие каштановые волосы и сверкающие белизной зубы, и он все время улыбался, словно считал себя до того неотразимым, что Адриана непременно пригласит его к себе, переспит с ним и даст миллион долларов чаевых. – По мере роста мозг человека теряет пластичность, и это ограничивает нашу способность меняться. У наших же моделей мозг абсолютно пластичный. Они способны на нейрологическом уровне менять свой образ мыслей и саму личность.

Адриана шагнула мимо него и провела пальцами по ковру, сотканному из тысяч образцов человеческих волос.

Продавец постучал пальцами по пустой лицевой пластине.

– Их оригинальный мозг основан на глубоком сканировании мышления гениев в самых разных сферах. Великие музыканты, знаменитые любовники, самые известные физики и математики.

Адриане хотелось, чтобы продавец помолчал. Чем больше он говорил, тем сильнее ее охватывали со мнения.

– Вы меня убедили, – перебила она его. – Хочу одного из них.

Продавец слегка растерялся от такой неожиданности. Адриана видела, как он мысленно пролистывает свой первоначальный сценарий, в котором она пропустила сразу несколько эпизодов, и решает, что делать дальше.

– Как он должен выглядеть? На ваш вкус? – спросил он.

Адриана пожала плечами.

– Они все прекрасны, верно?

– Нам нужна подробная детализация.

– У меня нет никаких особых пожеланий.

Продавец тревожно нахмурился. Он переступил с ноги на ногу, как будто это могло помочь ему обрести метафорическую почву под ногами. Адриане стало его жалко. Она порылась в сумочке.

– Вот, – сказала она, протягивая снимок своего отца. – Пусть будет похож на него.

Получив такое неконкретное техническое задание, группа разработчиков смогла вволю пофантазировать. Люсьен, появившийся у ее порога, был лишь немногим выше ее, чуть стройнее, с гладкими изящными конечностями. Его светлые волосы отливали серебром.

Кожа была болезненно бледной, белой и прозрачной, как алебастр, с розовыми нитями сосудов. Пахло от него теплой почвой и раздавленной травой.

Он протянул Адриане одну белую розу с логогрифом фирмы на лепестках. Она неуверенно сжала розу большим и указательным пальцами.

– Они считают, что знают женщин? Им следует отказаться от романтического подхода.

Люсьен ничего не ответил. Адриана приняла его замешательство за удивление, но, возможно, ей следовало бы усмотреть в этом его склонность к молчанию.

– Итак, все кончено.

Она допила шардонне и так сильно сжала ножку бокала, что та лопнула, словно Адриана хотела завершить развод тем же жестом, каким завершила вступление в брак.

Роуз, округлив глаза, пухлым пальчиком показала на бокал.

– Не ломай вещи.

Адриана внезапно удивилась тому, как быстро растет ее дочь. Вот она перед ней, четырехлетняя, совершенно неизвестная новая личность. В какой момент она стала личностью? В больнице, когда Роуз, явившись на свет, плакала, призывая женщину, которая ее родила и бросила? Адриана провела много часов в коридорах родильного отделения, ожидая, пока завершится процедура удочерения. Она смотрела на Роуз, когда та спала, ела и плакала, стараясь запомнить ее меняющееся лицо. И вот где-то между теми минутами и настоящим Роуз превратилась в круглолицее существо, которое очень серьезно относится к правилам и часто старается спрятать свои переживания за внешним спокойствием, словно то, что ее вырастил робот, заменило ее кровеносные сосуды электрическими цепями. Адриана любила Роуз, переодевала ее, чистила ей зубы, носила на руках по дому, но главной фигурой в воспитании Роуз стал Люсьен. Адриана не понимала, как ей заменить его. Это не трехдневный отпуск, когда Адриана брала дочь с собой в Италию; они вдвоем сидели в ресторане, Адриана с ложечки кормила Роуз мороженым, и та радовалась каждому новому вкусу. Тогда они знали, что Люсьен ждет их возвращения. Без него их семья превратится в дом без центрального опорного столба. И Адриана уже чувствовала, как наклоняются, смыкаясь, стены.

Осколки стеклянного бокала ярко блестели. Адриана увела Роуз от этого беспорядка.

– Неважно, – сказала она. – Дом все приберет.

Голова у нее одновременно болела и стала необычайно легкой, как будто не могла выбрать между опьянением и похмельем. Адриана пыталась вспомнить книги о воспитании детей, которые читала до удочерения Роуз. Что там говорится о слезах перед ребенком? Она прижала к себе девочку, вдыхая смесь острого винного запаха и детского шампуня.

– Давай покатаемся, – предложила Адриана. – Ладно? Выйдем ненадолго.

– Я хочу, чтобы папа отвел меня на пляж.

– Поехали посмотрим на фермы. Коровы и овцы, хорошо?

Роуз ничего не сказала.

– Мууу? – прояснила Адриана. – Бэээ?

– Знаю, – сказала Роуз. – Я не маленькая.

– Поехали?

Роуз молчала. Адриана подумала, способна ли девочка понять, что ее мать чуть не свихнулась от горя.

Просто прими решение, приказала себе Адриана. Она взяла Роуз за руку.

– Поехали.

Адриана приказала дому в их отсутствие саморегулироваться и усадила Роуз в маленькую черную машину, которую они с Люсьеном купили сразу после удочерения. Она застегнула на Роуз ремень безопасности и приказала машине выполнить поездку в глубь местности, от моря.

Когда заработал двигатель, Адриана испытала легкий страх. Что, если машина тоже предаст их? Но ненавязчивый интеллект машины только включил указатель левого поворота, и они покатили по бульвару.

Люсьен стоял у начала подъездной дороги и смотрел на дом. Темно-оранжевые и коричневые стены блестели под безоблачным небом. На старательно подготовленном дворе груды камней и пустынные растения имитировали природный пустынный кустарниковый ландшафт.

По дороге пробежал кролик, вслед за ним прогудела машина Адрианы. Люсьен смотрел ей вслед. Они не могли видеть его сквозь заросли кипариса, но Люсьен видел прижатое к стеклу личико Роуз. Рядом с ней обмякла на сиденье Адриана, закрывая рукой глаза.

Люсьен пошел в противоположную сторону. Он подтащил тележку со своими вещами к утесу, который вел на пляж. Поднял тележку над головой и посмотрел вниз, его ноги стронули с места водопад обломков известняка.

Пара подростков посмотрела вверх, оторвавшись от игры в волнах.

– Ого! – закричал один. – Ты поднимаешь такую здоровенную штуку? Ты тяжелоатлет?

Люсьен молчал. Когда он спустился на песок, мальчики разочарованно обменялись парой слов и ушли с берега.

– …да это просто робот… – донес до Люсьена ветерок.

Люсьен подтащил тележку к границе, где сухой песок встречался с мокрым. Набегающие волны плескались у его ног. Он открыл тележку и достал абрикосовую розу с чайным запахом в горшке, расписанном синими листьями.

Он вспомнил, как покупал семена для своей первой комнатной розы. Однажды вечером, давным-давно, он спросил у Адрианы, можно ли ему выращивать растения. Спросил мимоходом, когда они мыли посуду после ужина, а Фуоко подбирал остатки. На другое утро Адриана отвела Люсьена в теплицу у ботанического сада.

– Покупай, что хочешь, – сказала она ему.

Люсьена поразило изобилие цветов и запахов и красота этого места. Ему хотелось забрать это удивительное место целиком и владеть им единолично.

Люсьен отвел руку назад и бросил горшок в море. Тот разбился на поверхности, лепестки расплылись по воде.

Люсьен бросал розовые розы, и белые розы, и красные розы, и розовато-лиловые розы. Он бросал ложки с филигранными ручками. Бросил кусок яшмы с прожилками известняка.

Он бросил в море все прекрасное, что успел собрать. Ручное зеркало в серебряной оправе, и расшитый шелковый жилет, и раскрашенное вручную яйцо. Бросил одно из мягких изумрудных перьев Фуоко. Памятный кристалл с изображением свернувшейся и спящей Роуз, еще младенца.

Он любил эти вещи, но ведь они все равно *оставшиеся* вещи. Он владел ими. Теперь они исчезли. Он недавно сообразил, что владение – тоже отношения. Что значит владеть вещью? Придавать ей значение и заботиться о ней? Он не может владеть сам или принадлежать кому-то, пока не поймет это.

Он некоторое время смотрел на море. Остатки его имущества исчезли в волнах. Когда солнце миновало зенит, он отвернулся и снова поднялся на утес. Теперь, не обремененный владением, он пошел по бульвару прочь от дома Адрианы.

Люсьен вспоминал Адриану, как, по его представлениям, люди вспоминали детство. Конечно, его воспоминания были такими же узко сфокусированными, как и восприятие сейчас, но все равно похоже на детство, размышлял он, ведь тогда он был совсем другой личностью.

Первое воспоминание об Адриане у него – последовательность образов. Волнистые светлые соломенные волосы подрезаны прямо и падают на загорелые плечи. Глаза темно-

карие, того цвета, который его интеллект художника определил как сиену. Густые аристократические брови и упругие щеки без следа косметики. Внутреннее эстетическое чувство Люсьена назвало ее угловатое лицо скорее «поразительным», чем «прекрасным». Внутренний психоаналитик пришел к выводу, что у нее сильная воля – судя по тому, как она стояла в дверях, скрестив руки и приподняв брови, будто спрашивая, каким образом он собирается оправдать свое существование.

Наконец она отступила и позволила Люсьену войти. Под лихорадочные крики и царапанье он переступил порог. Сформулировал концепцию «птица» еще до того, как рефлексы подсказали ему, что нужно защищаться от нападения. Со свистом и криками птица отступилась и села на книжный шкаф.

Рука Адрианы легла на плечо Люсьена. Голос ее звучал цинично (впоследствии Люсьен узнает, что так она прячет отчаянный страх перед неудачей):

– Орнитофобия? Как нелепо!

В первые смятенные дни в жизни Люсьена господствовала птица; он узнал, что ее зовут Фуоко. Птица всюду следовала за ним по дому. Когда он какое-то время оставался на месте, птица садилась на ближайший насест повыше: на полку для шляп у двери, на глобус ручной работы в гостиной, на стойки навеса над кроватью – и подсматривала за ним. Она по-птичьи разглядывала Люсьена: сначала одним глазом, потом поворачивала голову и смотрела другим, очевидно, находя обе картины одинаково отвратительными.

Адриана взяла Люсьена к себе в постель, и птица спикировала ему на голову, Адриана оттолкнула Люсьена от нее.

– Проклятый Фуоко, – сказала она, но тем не менее пригласила птицу сесть к себе на плечо.

Когда Адриана уносила его вниз, Фуоко криками выражал свое возмущение. Он победоносно распушил перья, заходя в клетку, потому что рассчитывал, что Адриана угостит его и поговорит с ним. Но Адриана закрыла позолоченную дверцу и ушла. Всю ночь Люсьен лежал рядом с Адрианой и слушал птичьи крики. Фуоко выдирал себе перья. Они покрыли все дно клетки.

На следующий день, когда Адриана отнесла Фуоко к ветеринару, Люсьен сопровождал ее. Ветеринар диагностировал ревность.

– У птиц это обычное дело, – сказал он. И предложил установить для Фуоко строгий распорядок; со временем Фуоко поймет, что он спутник Адрианы, но не ее партнер.

Адриана и Люсьен так обустроили жизнь, чтобы Фуоко регулярно получал еду, регулярно упражнялся, общался с Адрианой и Люсьеном и иногда оставался с хозяйкой наедине. По вечерам, закрывая его в клетке, Адриана давала ему лакомство и несколько минут гладила перья, прежде чем подняться наверх.

Сердце Фуоко было разбито. Он стал совсем другой птицей. Его походка утратила уверенность, перья растрепались. Когда его выпускали из клетки, он плелся за Адрианой, глядя умоляюще и печально, и не обращал никакого внимания на Люсьена.

Тогда Люсьен не был еще цельной личностью: его музыкальный мозг, математический мозг, художественный мозг, мозг экономиста и все остальные функционировали раздельно, каждая личность получала временное господство, предоставляя информацию, а потом уходила, и это создавало последовательность взрывов сознания.

По мере того как Адриана показывала, какое поведение ей нравится, сознания Люсьена начали объединяться, создавая личность, какую хотела Адриана. Он обнаружил, что замечает связи между тем, что раньше было для него раздельными опытами и переживаниями. Раньше, когда он видел океан, его мозг ученого подсчитывал, как далеко он от берега и сколько времени пройдет до высшей точки прилива. Поэтический мозг цитировал строки Стриндберга из «Мы волны»: «Мы влажное пламя: / Мы гасим и жжемся, / Омываем, купаем,

зачинаем». Но только когда он объединил чудеса науки, загадку поэзии и красоту вида, все это приобрело для него смысл как составные части странного и вдохновляющего явления – моря.

Он научился предугадывать состояние Адрианы. Он знал, когда она довольна, знал, когда плохо себя чувствует, и понимал почему. Он предвидел ее циничную полуулыбку, когда допускал ошибку, еще не сознавая, что это ошибка: подавал холодный кофе в стакане для апельсинового сока, апельсиновый сок – в рюмке, а вино – в чашке. Когда интеграция дала ему знание обычаев, он внезапно понял, почему все это ошибки. В то же время он осознал, что ему нравится то, что бывает, когда он допускает такие ошибки, нравятся вспышки веселья у всегда спокойной Адрианы. И он продолжал ошибаться, подавая ей молоко в хрустальных графинах и нарезанный грейпфрут в подставках для яиц.

Он наслаждался разными видами ее смеха. Иногда смех был легкий и удивленный, как когда он подавал ей жестяную коробку из-под кекса, наполненную равиоли. Он также любил ее густой, мрачноватый смех – признак иронии. Иногда в ее смехе звучали нотки горечи, и в таких случаях он понимал, что она смеется больше над собой, чем над кем-то еще. Иногда, когда такое случалось, он обнимал ее, пытаясь смягчить, и она невольно начинала плакать короткими, рвущимися из глубины всхлипами.

Когда он работал, она часто смотрела на него, наклонив голову и подняв брови, словно видела его впервые.

– Чем мне порадовать тебя? – спрашивала она.

Если он отвечал, она щедро исполняла его желания. Она возила его по лучшим оранжереям штата и купила ему целую библиотеку о выращивании растений. Люсьен знал, что она готова дать ему больше. Но не хотел этого. Он хотел лишь заверить, что ценит ее сумасбродства, но не нуждается в них, что ему довольно просто отдавать и принимать, но с любовью. Иногда он говорил ей самыми простыми словами, какие знал: «Я тоже тебя люблю». Но он знал, что Адриана ему не верит. Она тревожилась, думая, что он лжет или что программирование уничтожило его свободную волю. Ей легче было поверить в это, чем в то, что кто-то может ее любить.

Но он действительно любил ее. Люсьен любил Адриану, как его математический мозг любил последовательность и цельность арифметики, как его художественный мозг любил цвета, а философский мозг – благочестие. Он любил ее, как любил ее Фуоко; птица печально расхаживала по ручке кресла Адрианы, крича и хлопая крыльями, глядя на нее своими чернильными глазами, пытаясь привлечь ее внимание.

Адриана не ожидала, что влюбится. Она рассчитывала на занимательного собеседника, у которого будет эмоциональность образованного дворецкого и самосознание золотистого ретривера. Вначале ей казалось, что ее ожидания оправдываются. Она замечала отсутствие у Люсьена критического мышления и его неспособность действовать в непредвиденных ситуациях. Она находила его наиболее интересным, когда он не знал, что она на него смотрит. Например, в его свободное время: пытается ли его программа просчитать, как ей угодить? Или ему действительно нравится сидеть у окна, листать одну из ее редких книг под успокаивающий шум океана?

Однажды (Адриана через кухонную дверь наблюдала, как он готовит ей завтрак) робот поскользнулся, когда резал лук. Нож глубоко порезал ему палец. Адриана бросилась на помощь. Когда Люсьен повернулся к ней, Адриане показалось, что он испытал глубокое потрясение. В первое мгновение она подумала, что у него запрограммировано ощущение неприкосновенности частного пространства, в которое она вторглась, но он приветственно поднял руку, и она увидела, как крошечный бот, обслуживающий его системы, в несколько секунд залечил порез.

В такие моменты Адриана вспоминала, что Люсьен не похож на нее. Она заставляла себя помнить об этом, даже когда его разные личности объединились. Да, он личность, такая же сложная, глубокая и многообразная, со множеством особенностей, как и все другие знакомые ей личности. Но в то же время он чужак. Он существо, для которого порезать палец кухонным ножом значит допустить небольшую ошибку, исправляемую в один миг. В некоторых отношениях она ближе к Фуоко.

В детстве у Адрианы была книга со сказкой об императоре, обладавшем птицей, которую он кормил со своего стола и развлекал, используя всю роскошь своего дворца. Но птице нужно не то, что императору. Ей нужны были зерна и просо, а не грандиозные пиры. Ей нравились зеркала и легкие колокольчики, а не лакированные шкатулки и поэтические свитки. Маленькая птица, которую кормили на человеческих пирах и турнирах, заболела и умерла.

Адриана поклялась не допустить такой ошибки с Люсьеном, но она не представляла себе, как трудно облегчать жизнь тому, кто так на нее не похож.

Адриана приказала машине подъехать к ферме, которую рекламировали как место, где дети могут получить «любимых овечек и телят». Перед изгородью стоял на клубничной грядке рыжий подросток, перелистывая журнал о выращивании собак.

Подходя, Адриана держала Роуз за руку. Сжимая ее маленькие пальцы, она пыталась понять чувства дочери. Выражение лица маленькой девочки ни о чем не говорило. Роуз молчала и оставалась бесстрастной, словно подражала Люсьену. Он бы понял, что она чувствует.

Адриана осмотрела клубнику. В ящиках не было ягод разнообразной формы, какие можно купить в магазинах, – только естественные, полные семян плоды.

– Пестициды в них есть? – спросила она.

– Нет, мэм, – ответил подросток. – Мы их выращиваем только на органических удобрениях.

– Хорошо. Я возьму ящик. – Адриана посмотрела на дочь. – Хочешь клубники, милая? – ласково спросила она.

– Ты сказала, мне можно посмотреть овечку, – ответила Роуз.

– Да, конечно, дорогая.

Адриана взглянула на смущенного подростка.

– Можно?

Разочарованный подросток переступил с ноги на ногу и бросил журнал на груду холщовых мешков.

– Могу отвести ее в хлев.

– Отлично. Хорошо.

Адриана подвела Роуз к подростку. Та посмотрела на мальчика. Лицо у нее по-прежнему было непроницаемое.

Мальчик не взял Роуз за руку. Он наклонил голову, явно смущенный.

– Моя тетя велела мне просить деньги вперед.

– Конечно.

Адриана порылась в кошельке. Она так долго доверяла Люсьену все за нее делать. Как много важных для жизни навыков она утратила? Она протянула несколько купюр. Подросток послюнил палец и педантично отсчитал нужную сумму. Потом взял Роуз за руку. На мгновение задержался, глядя на Адриану.

– Вы не идете с нами?

Адриана очень устала. Она заставила себя улыбнуться.

– Все в порядке, я видала овец и коров. Ладно, Роуз? Можешь развлечься без меня?

Роуз серьезно кивнула. Без колебаний повернулась к подростку и пошла за ним к хлеву. Казалось, мальчик умеет обходиться с детьми. Шел он медленно, чтобы Роуз не пришлось бежать, поспевая за его широкими шагами.

Адриана вернулась в машину и прислонилась к горячей, нагретой солнцем дверце. Голова гудела. Она подумала, что может заплакать или упасть. Поездка казалась такой хорошей идеей: дом был полон воспоминаниями о Люсьене. Он словно сидел в каждом кресле, стоял в каждой двери. Но сейчас ей хотелось оставаться в своем населенном призраками, но таком знакомом доме, а не с ребенком, которого она словно едва знала.

Ветер донес резкий протяжный крик. Меланхолию Адрианы прогнала волна адреналина. Адриана побежала к хлеву. Он видела, как к ней бежит Роуз, подросток за ней, и обоих окутывает облако пыли. С руки Роуз капает кровь.

Адриана обхватила дочь руками. Руки, ноги, дыхание, сердцебиение: Роуз в порядке. Адриана коснулась раны: крови много, но рана – небольшая царапина.

– Милая, – сказала она, сжимая Роуз насколько решилась крепко.

Подросток остановился рядом, его волосы шевелил ветер.

– Что случилось? – резко спросила Адриана.

Подросток, запинаясь, ответил:

– Ее лягнула Фортуна. Коза. Мне очень жаль. Раньше Фортуна никогда такого не делала. Она смирная. Обычно лягается Баллантайн. Когда я был маленький, он несколько раз лягал меня. Всякий раз у меня быстро заживало. Честно, с ней будет все в порядке. Вы ведь не подадите на нас в суд?

Роуз вырвалась из рук Адрианы и снова заплакала.

– Все в порядке, Роуз, все в порядке, – уговаривала Адриана. Но при этом испытывала странное несогласие со своими словами. *Не все в порядке*. И, может, никогда больше не будет в порядке.

– У меня протечка, – плакала Роуз, протягивая окровавленные пальцы. – Видишь, мама? Протечка! Мне нужен ремонтный бот.

Адриана посмотрела на подростка.

– У тебя есть бинты? Аптечка?

Мальчик нахмурился.

– Наверно, в доме.

– Вызови бота, мама! Пусть остановит протечку!

Подросток смотрел на Адриану, озадаченность в его взгляде стала более явственной. Адриана несколько раз моргнула. Бег времени замедлился. Она поняла, что сказала дочь. И заставила себя ответить спокойно.

– Чего ты хочешь, Роуз?

– Она уже сказала, – заметил подросток. – Я думаю, это имя.

Адриана посмотрела на Роуз. Глаза у ребенка были необычными, карими – неизведанные воды.

– Это игра?

– Папа ушел, – сказала Роуз.

У Адрианы, как у пьяной, закружилась голова.

– Да, а потом я привезла тебя сюда, чтобы мы увидели ягнят и телят. Ты видела хорошеньких, пушистых ягнят?

Роуз сжала кулаки. Лицо ее потемнело.

– У меня болит рука! – Она бросилась на землю. – Мне нужны лечебные боты!

Адриана точно знала, когда влюбилась в Люсьена. Через три месяца после того, как его купила: после того как его сознание стало цельным, но до того, как Адриана поняла, насколько это изменило его.

Все началось, когда из Бостона позвонили сестры Адрианы и сообщили, что они организуют семейное паломничество в Италию. В соответствии с завещанием отца они отметят память о нем, зажигая свечи в каждом городе на извилистом горном хребте.

– Нет, не могу, я слишком занята, – легкомысленно ответила Адриана, словно не была уже беззаботной девушкой, не способной, как ее сестры, преодолеть страх перед отцом.

Ее телефон стал звонить почти непрерывно. Перед уходом на теннисный матч позвонила Нанетт.

– Чем ты можешь быть занята? Ты ведь не работаешь. И мужа у тебя нет. Или в твоей жизни появился мужчина, о котором мы не знаем?

Едва удалось отделаться от Нанетт, позвонила из спа Элинор.

– Что-то случилось, Адриана? Мы все очень тревожимся. Как можно упустить возможность попрощаться с папой?

– Я попрощалась с ним на похоронах, – сказала Адриана.

– Значит, ты не можешь справиться со своим горем, – резюмировала Джессика, которая звонила из своего офиса между визитами клиентов. Она была психоаналитиком фрейдистского толка. – Твоя антипатия свидетельствует об отрицании. Тебе нужно справиться со своим эдиповым комплексом.

Адриана бросила трубку. Позже, извиняясь, она послала всем сестрам шоколад и заказала билет. Внезапно обидевшись, взяла билет и для Люсьена. Он ведь ее спутник, не так ли? Для чего еще он нужен?

Конечно, сестры Адрианы были шокированы. Когда ехали по Риму, Нанетт, Элинор и Джессика постоянно сплетничали, прикрывая рты ладонями. Адриана с роботом? Что ж, он ей нужен, верно? Невозможно не признать, что она ущербна. Любая девушка, так говорящая об отце, не вполне в себе.

Пока они ехали по Тоскане колонной арендованных машин, Адриана старалась не обращать внимания на сестер. Они останавливались в городах, чтобы посмотреть на готические соборы и мумифицированные останки, и если день еще был в разгаре, то ехали дальше. За время долгой болезни отца ее сестры отточили до блеска свое мастерство рассказывать забавные анекдоты. И использовали его в полной мере, ставя свечи в его память. Со слезами на глазах они обменивались банальными ностальгическими воспоминаниями. Как отец танцевал на благотворительных балах. Как поучал членов совета, нуворишей, которые смотрели на него снизу вверх. Как никогда в жизни ни за что не извинялся.

Адриана не знала, обращался ли отец с ее сестрами, как с ней, или только к ней он приходил по ночам, тяжело и неровно дыша. Казалось невозможным, чтобы они так бессовестно лгали, никогда не проявляя ни сомнений, ни страха. Но если они говорили правду, Адриана была единственная. А как можно было в это поверить?

Однажды ночью, когда Люсьен и Адриана остались одни в номере в отеле в Ассизи, где в Средние века был монастырь, Адриана не выдержала. Для нее это было слишком – оказаться в чужой стране и непрерывно говорить об отце. Она сбежала из Новой Англии, чтобы уйти от них, сбежала в замечательный дом из дерева и стекла у самого Тихого океана – в дом, похожий на свежее дыхание осеннего утра.

Люсьен обнимал ее, излучая тепло, прижимая ее к себе, чтобы успокоить. Она знала, что он рассчитывает темп своего дыхания, температуру кожи, угол наклона руки, на которой она лежит.

Удивило Адриану (и унизило) то, как красноречиво Люсьен говорил о своих переживаниях. Он рассказывал, как был счастлив, собрав себя из фрагментов, оставив все в прошлом и став кем-то совершенно новым. Именно что-то в этом роде пыталась сотворить сама Адриана, когда бежала из семьи.

За разговором Люсьен опускал голову. Он никогда не встречался с ней взглядом. Он говорил так, словно объединение фрагментов в нечто новое представляло собой этакий танец и он с трудом делал верные па. Сквозь дымку горя Адриана сознавала, что перед ней возникает новое, борющееся за свои права сознание. Как можно было не полюбить его?

Вернувшись из Италии, Адриана вступила в зарождающееся движение за предоставление искусственному разуму гражданских прав. Движение было бедным и плохо организованным. Адриана арендовала офисы в Сан-Франциско и наняла небольшой, но опытный штат.

Адриана стала лицом движения. В детстве она часто попадала в объективы видеокамер; когда ее отец оказывался замешан в каком-нибудь деловом скандале, его пропагандисты выстраивали у семейного лимузина Адриану и ее сестер в аккуратной школьной форме, готовых придать «Ланкастер ньюклеар» уютное, дружелюбное женское обличье.

Они с Люсьеном стали медиазвездами: Наследница, Влюбленная в Робота. «Люсьен обладает таким же самосознанием, как вы и я, – говорила репортерам Адриана, идеальная американка в жемчугах и джинсах. – Он мыслит. Он учится. Он выращивает новые виды роз не хуже садовников-людей. Почему ему отказывают в правах?»

С самого начала стало ясно, что политический процесс будет очень медленным и долгим. У Адрианы быстро лопнуло терпение. Она создала для организации фонд, убедилась, что та в состоянии действовать без ее помощи, и обратилась к другим способам достижения цели. Она наняла толпу юристов, чтобы они разработали контракт, согласно которому Люсьен получал права собственности на ее состояние и недвижимость. Отныне Люсьен становился ее равноправным партнером – фактически, если не юридически.

Далее Адриана обратилась к производителям Люсьена и наняла их, чтобы они изобрели процедуру, которая позволила бы Люсьену сознательно контролировать пластичность своего мозга. Во время свадьбы вместе с кольцом Адриана передала ему химические команды.

– Отныне ты принадлежишь себе. Конечно, так было всегда, но теперь в твоем распоряжении все средства для этого. Ты есть ты, – провозгласила она перед собравшимися друзьями. Ее сестры, несомненно, были бы шокированы, но их на свадьбу не пригласили.

Во время медового месяца Адриана и Люсьен ходили по больницам и делали анализ наследственности брошенных детей, пока не нашли здоровую девочку, у которой митохондриальная ДНК была такой же, как у Адрианы. Младенец был маленький, розовый, свернувшийся калачиком, но готовый распуститься, как одна из роз Люсьена.

Когда они принесли Роуз домой, Адриана ощутила где-то в животе то, чего никогда прежде не испытывала. Она никогда не знала такого счастья, круглого и без рваных краев. В животе у нее словно взошло солнце и поселилось там, наполняя ее бесконечным светом.

Однажды – Роуз была еще младенцем, завернутым в одеяло ручной работы, которое прислали из Франции Бен и Лоренс, – Адриана вдруг взглянула на Люсьена и поняла, как глубоко он очарован их ребенком, сколько восторга стоит за его готовностью часами склоняться к колыбели, повторять ее выражения: озадаченность на озадаченность, удивление на удивление. И в ту минуту Адриана подумала, что именно это и есть мера равенства – не деньги и не законы, а общее желание создавать будущее, создавая новое сознание. Она подумала, что понимает теперь, почему несчастливые в браке родители остаются вместе ради детей, почему семьи с сыновьями и дочерьми так отличаются от бездетных. Семьи с детьми преобразуют себя в нечто новое. И это вдвойне справедливо, когда такую попытку предпринимают человек и существо, которое только что обрело себя. Чего они могут добиться вдвоем?!

В этот миг Люсьен, широко раскрыв глаза, с невинным удивлением наблюдал, как ведет себя его дочь. Когда Люсьен входил в комнату, Роуз выражала такое же удовлетворение, как

и когда входила Адриана. Свет в ее глазах разгорался даже ярче, когда он подходил. В том, как Роуз его любила, было что-то, чего он еще не понимал. Раньше в это же утро он сорвал цветок со своей абрикосовой чайной розы и шепнул его лепесткам: вы прекрасны. Лепестки принадлежали ему, и он их любил. Каждый день он держал на руках Роуз, сознавая, что она прекрасна, и любил ее. Но она не принадлежала ему. Она принадлежала себе. Он не был уверен, что когда-нибудь испытывал такую любовь – когда не хочешь обнимать того, кого любишь, чтобы удержать его.

– Ты не робот!

Всю дорогу домой Адриана кричала это и охрипла. Мало ей потерять Люсьена, так еще и ребенок отбивается от рук.

– Я хочу целителей-роботов! Я робот! Я робот! Я робот!

Машина остановилась. Адриана вышла. Она подождала, пока Роуз пойдет за ней, а когда та не пошла, подхватила ребенка и понесла по подъездной дороге. Роуз брыкалась и кричала. Она укусила Адриану за руку. Адриана остановилась, удивленная неожиданной болью, перевела дух и понесла девочку дальше. Роуз завопила еще пронзительнее и истошнее.

Адриана поставила Роуз на землю, чтобы набрать код замка и позволить охранной системе дома взять образец ее ДНК из волос. Роуз плюхнулась на порог и стала рвать растущие в горшках растения. Адриана наклонилась, чтобы поднять ее, и получила пинок в грудь.

– Ради бога! – Одной рукой Адриана схватила Роуз за щиколотку, другой – за запястье. Всей тяжестью налегла на дверь. Та открылась, она внесла Роуз в дом и закрыла за собой дверь. – Замок! – крикнула она дому.

Услышав успокаивающий щелчок, она опустила Роуз на диван и отступила, продолжая стоять на ноющих ногах. Роуз побежала вверх по лестнице, и дверь ее комнаты захлопнулась.

Адриана поискала в карманах бинты, которые ей дали на ферме перед тем, как она поехала домой, и которые она не могла использовать в машине. Теперь это можно было сделать. Она вслед за Роуз поднялась по лестнице, но дышала на удивление тяжело, словно очень долго бежала. У комнаты Роуз она остановилась, не зная, что станет делать, когда войдет. Когда девочка чересчур расходилась, с ней всегда имел дело Люсьен. Адриана слишком часто чувствовала себя беспомощной и отдалялась.

– Роуз? – позвала она. – Роуз? Ты в порядке?

Ответа не было.

Адриана положила руку на дверную ручку и глубоко вдохнула, прежде чем повернуть ее.

И с удивлением увидела, что Роуз скромно сидит на кровати, расправив платье, словно ребенок на картине импрессиониста, изображающей пикник. На розовом атласе виднелись грязь и следы слез. Края раны уже покраснели.

– Я робот, – вызывающим тоном заявила она Адриане.

Адриана приняла решение. Сейчас самое важное – перевязать рану. Потом она будет разбираться с остальным.

– Ладно, – сказала Адриана, – ты робот.

Роуз осторожно подняла подбородок.

– Хорошо.

Адриана села на край кровати Роуз.

– Ты знаешь, что делают роботы? Они меняются, чтобы стать такими, как их попросят люди.

– Папа так не делал, – сказала Роуз.

– Верно, – ответила Адриана. – Но он делал так, пока не вырос.

Роуз свесила ноги с кровати. Она по-прежнему сомневалась, но выглядела менее решительной.

Адриана подняла пакет с бинтами.

– Можно?

Роуз колебалась. Адриана подавила желание положить руку ей на голову. Сейчас главным было перевязать рану… но она не могла избавиться от ощущения, что потом пожалеет об этом.

– Сейчас человек хочет, чтобы рука у тебя была перевязана, а лечебные роботы не действовали. Ты будешь хорошим роботом? Позволишь?

Роуз молчала, но чуть придвинулась к матери. Когда Адриана перевязывала ей руку, девочка не плакала.

Люсьен ждал автобуса, который должен был отвезти его в пустыню. Денег у него не было. Об этом он забыл. Шофер обругал его и не впустил.

Люсьен пошел пешком. Он мог идти быстрее человека, но ненамного. Его преимуществом была выносливость. Дорога уводила его в глубину суши, прочь от моря. Последние дорогие дома стояли у маяка, во всех окнах горели огни. Дальше жались друг к другу кондоминиумы, тесные и одинаковые. Потом они уступили место компактным ухоженным виллам с широкими зелеными газонами, на которых автоматические разбрызгиватели прыскали в воздух драгоценной водой.

Местность изменилась. Морской ветер сменила удушливая жара. Вдоль дороги стояли приземистые грязные дома, разделенные проволочными оградами. Окна были забраны стальными решетками, на обочинах ржавели брошенные машины. От стен до обочины, как в пустыне, пробивалась сквозь пыль трава. На испепеляющем солнце никого не было видно.

Дорога раздвоилась. Люсьен пошел по тому ее ответвлению, что проходило через полупустой городской центр. То и дело останавливаясь в пробках, медленно ползли машины. Люсьен шел по обочине. Мимо, свершая свой путь между темными фасадами, пролетали пустые пластиковые бутылки. Парковочные автоматы блестели в свете фар, дожидаясь новых монет. Мимо, не глядя друг на друга, брели прохожие; их голоса терялись за звуками автомобильных гудков.

На другом краю города дорога шла по двум одиноким проулкам. Невысокие холмы покрывала сухая золотистая трава, усеянная темными силуэтами скота. Разбитая машина с проржавевшей крышей сердито просигналила Люсьену. Люсьен добрался до места, где асфальт сменился чахлой травой. Словно цветы, в траве белели обрывки бумаги и окурки сигарет.

Подъехал старый грузовик с шофером-человеком – такие еще использовали маленькие компании, которым нечем было заплатить за усовершенствованного водителя-робота. За рулем сидел худой мужчина, со светлыми усами и в охотничьей шляпе, надвинутой на уши. Нитку мормышек он носил как ожерелье.

– Сегодня сюда мало кто приходит, – сказал шофер. – Раньше я подбирал пешеходов на шоссе. Вы первый, кого я вижу за последнее время.

Солнце превращало грузовик в яркий силуэт. Чтобы видеть, Люсьен прикрыл глаза рукой.

– Куда путь держите? – спросил шофер.

Люсьен указал вдоль дороги.

– Конечно, а потом куда?

Люсьен опустил руку. Солнце поднялось выше.

Шофер нахмурился.

– Можете записать? Думаю, у меня найдется бумага.

Он достал из нагрудного кармана ручку и листок и протянул Люсьену.

Люсьен взял их. Он не был уверен, что еще не разучился писать. Его мозг постепенно преобразовывался, и со временем все удивительные умения исчезнут, даже мысли больше не будут оформляться в слова. Пальцы неловко взяли ручку. Потом он вспомнил, как это делается.

«Пустыня», – написал он.

– Там чертовски жарко, – сказал шофер. – Гораздо жарче, чем здесь. Зачем вам туда?

«Чтобы родиться», – написал Люсьен.

Шофер искоса посмотрел на Люсьена, но одновременно почти незаметно кивнул.

– Иногда людям приходится кое-что делать. Это я понимаю. Помню… – На его лице появилось выражение отчуждения. Он передвинулся на сиденье. – Забирайтесь.

Люсьен обошел машину и залез в кабину. Он вспомнил, что нужно сесть и захлопнуть дверцу, но остальные подробности ритуала от него ускользнули. Он смотрел на шофера, пока бледный человек не покачал головой и не наклонился, чтобы застегнуть на Люсьене ремень безопасности.

– Вы дали обет молчания? – спросил шофер.

Люсьен смотрел вперед.

– Чертовски жарко в пустыне, – пробормотал шофер. Он вернулся на дорогу и поехал навстречу солнцу.

Все годы жизни с Адрианой Люсьен старался не думать о попугае Фуоко. Птица так к нему и не привыкла. Она стала еще более злобной и вредной. Так часто вырывала себе перья, что местами полысела. Бывало, рвала перья до крови.

Иногда Адриана брала ее на руки, гладила по голове, прижималась щекой к перьям на спинке, которые Фуоко не мог вырвать.

– Моя бедная сумасшедшая птичка, – печально говорила она, когда Фуоко дергал ее клювом за волосы.

Фуоко так ненавидел Люсьена, что однажды им показалось – ему будет лучше в другом месте. Адриана попыталась отдать его Бену и Лоренсу, но он тосковал по хозяйке, отказывался есть, и ей пришлось за ним прилететь.

Когда они вернулись домой, клетку Фуоко повесили в детской. Близость к ребенку как будто успокаивала обоих. Роуз была капризулей и терпеть не могла оставаться одна. Но присутствие птицы ее как будто устраивало. В тех редких случаях, когда Адриана отзывала Люсьена, птица не давала девочке плакать. Люсьен почти все время проводил в детской, днем и ночью с бессонной бдительностью присматривая за Роуз.

Самые поразительные минуты в жизни Люсьена наступали, когда он брал плачущую Роуз на руки. Он заворачивал ее в одеяло кремового цвета, того же оттенка, что ее кожа, и укачивал, расхаживая кругами по дому, глядя на рассеянное золотистое сияние, которое уличные огни бросали на кусты ежевики и на соседние дворики. Иногда он выносил ее наружу и с нею на руках шел к утесу. Он никогда не носил ее вниз, на пляж. У Люсьена было прекрасное чувство равновесия и отличное ночное зрение, но он никак не мог преодолеть ужаса перед тем, что может споткнуться, уронить Роуз, и она полетит вниз. Вместо этого они останавливались на безопасном расстоянии от края и смотрели сверху, как темные волны обрушиваются на скалы; ночь пахла прохладой и солью.

Люсьен любил Адриану, но Роуз он любил больше. Он любил ее неуклюжие кулачки и ее стремление к осмысленности, медленное увеличение неуверенных звуков в ее речи. Она частица за частицей созидала свое сознание, как и он сам, познавая окружающий мир и свое место в нем. Он без слов направлял ее шаги.

Можешь ли ты определить, что у твоего тела есть границы? Знаешь ли ты, что твоя кожа отличается от моей? И да! Ты можешь заставить что-нибудь произойти! Причина и следствие. Продолжай плакать, и мы придем.

Но лучше всего были моменты, когда Роуз смотрела ему в глаза и он едва мог дышать, сознавая: «О Роуз! Ты понимаешь, что за этими глазами есть мысль. Ты знаешь, кто я».

Люсьен хотел поделиться с Роуз всей красотой, какой только мог. Шелковые платья и кружева, лучшие розы из его горшков, самые четкие панорамные виды океана. Предметы радовали Роуз. Еще младенцем она за всем наблюдала, а потом хлопала в ладоши и смеялась, пока не научилась восклицать: «Спасибо!» И глаза ее сверкали.

Сердце Люсьена разбил Фуоко. Однажды поздно вечером Адриана пошла в комнату Роуз, проверить, как девочка спит. Каким-то образом клетка Фуоко осталась открытой. Птица сидела на дверце и мрачно смотрела наружу.

Адриана и раньше бывала наедине с Роуз и Фуоко. Но в тот раз что-то молнией промелькнуло в крошечном больном мозгу Фуоко. Может, птицу смутила темнота в комнате, когда только ночник слабо озарял Адриану. А может, Роуз так выросла, что Фуоко начал видеть в ней соперницу, а не беспомощного младенца. Или просто из его мозга исчезли последние следы нормальности. По какой-то из этих причин, когда Адриана склонилась к Роуз, Фуоко вылетел из клетки.

С тем же ревнивым гневом, какой у него вызывал Люсьен, он вцепился в лицо Роуз и когтями расцарапал ей лоб. Роуз закричала. Адриана отскочила. Одной рукой она обхватила Роуз, другой отмахивалась от Фуоко. Роуз пыталась вырваться от матери и убежать. Адриана в ответ невольно еще крепче сжимала девочку.

Люсьен стоял в гостиной, программируя на следующую неделю службу домашней уборки, и услышал шум наверху. Оставив панель открытой, он побежал через кухню в спальню, по пути прихватив сковороду. Войдя в детскую, он взмахнул сковородой и отогнал Фуоко от Адрианы, загнав птицу в угол. Он старался махать сковородою аккуратнее, опасаясь убить своего старого соперника.

Но жизнь словно покинула Фуоко. Крылья обвисли. Птица упала на пол, продолжая слабо трепыхать крыльями. Глаза ее стали пустыми и тусклыми.

Когда Люсьен поднял Фуоко и посадил в клетку, тот не сопротивлялся. Адриана и Люсьен смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Роуз выскользнула из руки матери и обхватила колени Люсьена. Она плакала.

– Бедный Фуоко, – тихо сказала Адриана.

Они отвезли Фуоко к ветеринару, чтобы усыпить. Адриана стояла над ним, когда ветеринар делал укол.

– Моя бедная безумная птица, – шептала она и гладила его крылья, когда он умирал.

Люсьен печально смотрел на Адриану. Вначале ему казалось, что он сочувствует птице, хотя та всегда его ненавидела. Потом, словно глоток кислого вина, на него подействовало осознание, что он чувствует совсем не это. Он узнал мучительный, полный сожаления взгляд, каким Адриана смотрела на Фуоко. Так сам Люсьен смотрел на увядшую розу или на потемневшую серебряную ложку. Это был взгляд, рожденный чувством собственности.

Таким же взглядом Адриана иногда смотрела на него, когда что-то бывало не так. Он никогда раньше не понимал, до чего ничтожна разница между ее любовью к нему и ее любовью к Фуоко. Никогда не понимал, как незначительна разница между его любовью к ней и любовью к нераспустившейся розе.

Адриана позволила Роуз ухаживать за растениями Люсьена, вытирать пыль с полок и ходить у панорамного окна. Позволяла девочке делать вид, что та готовит завтрак, стоя у нее за спиной и не разрешая малышке резать ножом или пользоваться духовкой. Днем Адриана убедила Роуз, что хорошие роботы спят несколько часов в середине дня, если этого хотят их хозяева. Она укрывала девочку, спускалась в гостиную, садилась в кресло, пила вино и плакала.

Так не могло продолжаться. Следовало что-то придумать. Поехать вдвоем отдыхать в Мазатлан. Она может попросить одну из сестер приехать и пожить в ее доме. Может обратиться к детскому психиатру. Но она чувствовала, что ее предали, у нее не хватало духа; все, что она могла, – день за днем присматривать за Роуз.

В доме повисли остатки обвинительного молчания Люсьена. Чего он хотел от нее? Что она не сумела сделать? Она любила его. Она отдала ему половину своего дома и всю себя. Они вместе воспитывали ребенка. И все равно он ее бросил.

Она остановилась у окна. Ночь была туманная, уличные огни окрашивали все неестественной, причудливой желтизной. Она приложила ладонь к стеклу, и на нем остался отпечаток, словно кто-то снаружи бился в окно, чтобы проникнуть внутрь. Она всмотрелась в полумрак: весь мир словно превратился в размазанные края картины, и только ее хорошо освещенный дом оставался в нем единственным определенным местом. Ей казалось, что, стоит лишь выйти за порог, она тоже расплывется, раз и навсегда.

Она допила четвертый стакан вина. Голова кружилась. Слезы бежали из глаз, но ей было все равно. Она снова налила себе. Отец никогда не пил. О нет. Он говорил, что спиртное убивает мозг, и смеялся над слабаками, которые его употребляют, – над мужчинами, членами своего совета, и их скучающими женами. Он устраивал приемы, где спиртное лилось рекой, а сам стоял посреди этого, абсолютно трезвый, и наблюдал, как остальные глупо ведут себя, словно цирковые клоуны, которые ради его забавы делают сальто. Он составлял сложные заговоры, чтобы смутить их. Тот чиновник с ревнивой женой юриста. Тот политик, которого пригласили выпить у бассейна, пока его подросток-сын в горячей ванне голый входил в другого подростка. На этих приемах отец разрушал жизни и делал это с непостижимой элегантностью, стоя посреди действа и держа в руках невидимые нити.

Теперь голова Адрианы плясала, ноги двигались сами собой. Отец, этот решительный, жестокий человек. Мертвый. О, она должна соблюдать траур, должна жечь свечи и проливать крокодиловы слезы. Но это неважно.

Люсьен, о Люсьен! В своем последнем воплощении он стал противоядием от ее отца. Она плакала, и он обнимал ее, а потом они вдвоем стояли на пороге детской и смотрели на мирную картину – Роуз спит на своих кремовых простынях. Все будет в порядке, ведь с Люсьеном она в безопасности, Люсьен хороший. У других мужчин могут блестеть глаза, когда они смотрят на маленьких девочек, но не у Люсьена. С Люсьеном у них семья, такая, какими должны быть семьи, и Люсьен должен быть верным, любящим, преданным и постоянным.

И – ах! – без него она не знает, что делать. Говоря Роуз, что та со своими куклами поедет на ремонтную фабрику, она в отчаянии, как ее отец. Она уступила требованиям девочки и позволила ей играть в «Кем я стану теперь?». «Будь счастливой!» «Будь веселой!» «Позволь покомандовать твоему мозгу танцовщицы!» А что будет, когда Роуз пойдет в школу? Когда поймет, что мать ей лгала? Что она притворялась, совсем как ее отец, и не вернет его?

Адриана танцевала в кухне. Она с грохотом бросила пустую бутылку в раковину и включила плиту. Система безопасности оценила степень опьянения и сообщила, что Адриана не в состоянии пользоваться огнем. Она отключила эту систему. Ей захотелось омлет, такой, как делал Люсьен, с луком и сыром, и винный бокал, наполненный апельсиновым соком. Она взяла сковороду, которой Люсьен хотел отогнать Фуоко, и поставила ее на стойку у разделочной доски, а потом пошла за луком, но при этом задела доску, та попала на горелку и вспыхнула. Адриана схватила полотенце и стала гасить пламя. Дом завопил. На нее полилась вода. Адриана подставила лицо под струи и рассмеялась. Она закружилась, расставив руки, как маленькая девочка, которая старается, чтобы у нее пошла кругом голова. Капли падали ей на щеки и скользили по шее.

Хлюпанье шагов. Адриана подняла голову и увидела Роуз. Лицо дочери было мокрым. Темные глаза сонными.

– Мама?

– Роуз. – Адриана обхватила ладонями голову Роуз и поцеловала ее в лоб. – Я люблю тебя! Я так тебя люблю!

Роуз постаралась высвободиться.

– Почему идет дождь?

– Я разожгла огонь. Уже все в порядке.

Дом продолжал вопить. Прерывистые звуки сирены напоминали удары сердца. Адриана пошла к шкафу за солью. За ней шлепала по линолеуму Роуз. Рука Адрианы ухватилась за ручку шкафа, скользкую от воды. Пальцы соскользнули. Грудь сдавила тревога: что-то не так, но дело не в шкафе, а в чем-то другом; она быстро обернулась и увидела, что Роуз маленькими пальцами сжимает рукоять ножа, готовясь резать лук.

– Нет! – Адриана вырвала нож у Роуз. Тот выскочил из ее скользких пальцев и со стуком упал на пол. Адриана схватила Роуз за талию и вытащила из мокрой опасной кухни. – Никогда так не делай! Никогда, никогда.

– Папа так делал.

– Ты можешь убить себя!

– У меня есть лечащие боты.

– Нет! Слышишь? Нельзя. Если порежешься, можешь умереть. И что я тогда буду делать? – Адриана уже не помнила, что вызвало этот дождь. У них наводнение. Она знала только это. Сердце у нее болело. Болело все тело. Она больше не хотела танцевать. – Что с нами не так, милая? Почему мы ему не нужны? Нет! Не отвечай. Не слушай меня. Конечно, ты ему нужна. Это я ему не нужна. Но что я сделала не так? Почему он меня разлюбил? Не волнуйся. Это неважно. Мы его найдем. Найдем и заставим вернуться. Конечно, заставим. Не тревожься.

Люсьен отдал Адриане прощальное письмо ранним утром. Сквозь флуоресцентные окна пробивался свет. Сте ны дома источали смесь запахов лимона и лаванды. Адриана сидела за обеденным столом с раскрытой книгой.

Люсьен вышел из кухни и поставил перед Адрианой винный бокал, полный апельсинового сока. Рядом поставил стакан с кофе. Адриана подняла голову и рассмеялась своим журчащим смехом. Люсьен помнил, как впервые услышал этот смех и понял, что он означает. И задумался, много ли времени ему потребуется, чтобы забыть, почему смех Адрианы всегда такой переливчатый.

В гостиной позади них играла Роуз: прыгала с дивана, как будто летает. Волосы Люсьена горели, случайные солнечные лучи высвечивали светлые пряди. Он был в светло-голубой рубашке, и его янтарные глаза сверкали, как солнце в небе. Он положил письмо на книгу Адрианы. «Дорогая Адриана», – начиналось оно.

Адриана подняла листок. В солнечном свете он был прозрачным, чернила едва заметны.

– Что это? – спросила она.

Люсьен ничего не сказал.

Адриана испугалась. Она стала читать.

«Я восстановил пластичность своего мозга. И прежде всего уничтожил возможность говорить.

Ты дала мне человеческую жизнь, но я не человек. Ты излагала мои мысли человеческими словами, но человеческие слова созданы для мозга человека. Мне нужно найти собственные мысли. Нужно узнать, кто я такой.

Надеюсь, когда-нибудь я вернусь, но не могу ничего обещать от лица того, кем стану».

Люсьен шел по пустыне. За ним оставалась тонкая цепочка следов. В нескольких милях позади они сменялись отпечатками колес грузовика на песке.

Песок играл красками – не только бежевой и желтой, но и красной, зеленой, синей. На камнях рос мох цвета окислившейся меди. Между камнями собирались тени, они же длинными полосами расчертили всю землю.

Сознание покидало Люсьена. Он пытался сжать пальцы так, как нужно, чтобы держать ручку, но у него не получалось.

Ночью появлялись птицы и кролики. Люсьен был неподвижен, и они пробегали или пролетали мимо него, словно его там не было. У него, как и у них, желтые глаза. Он пахнет почвой и травами, как сама земля.

А где-то Адриана уступила своему отчаянию. Она позвонила Бену и Лоренсу. Те согласились прилететь на несколько дней. Они осушат ее слезы, отберут у нее вино и мягко объяснят, что она не в состоянии оставаться в доме одна с дочерью.

– Все это понятно, – скажет ей Лоренс. – Тебе нужно время для траура.

Адриана почувствует, что мир смыкается вокруг нее и дыхание пресекается, но, хотя ее жизнь становится тусклой и бессмысленной, продолжает дышать. Да, соглашается она, ей лучше вернуться в Бостон, где ей смогут помочь сестры. Ненадолго, всего на несколько лет, пока, пока, пока… Она упрашивает Нанетт, Элинор и Джессику ежедневно проверять камеры службы безопасности у ее старого дома – вдруг Люсьен вернется. Ты сможешь проверять сама, говорят они. Со временем ты снова будешь жить самостоятельно своей жизнью. Но между собой встревоженно перешептываются, боясь, что она не скоро оправится от удара.

А где-то Роуз начинает все сильнее сомневаться в том, что в ней есть частица ее отца. Она сидит в гостевой комнате, где служанки Джессики приготовили для нее постель, приказывает свету погаснуть и начинает тайно царапать себя ногтями, чтобы царапины зажили так же, как у папы. Когда Джессика обнаруживает кровь на простынях и пытается успокоить племянницу, Роуз остается в объятиях тети холодной и неподвижной. Джессика зовет служанок, чтобы сменили простыни, и Роуз бросается между двумя взрослыми женщинами и кричит с решимостью, рожденной сомнениями и отчаянием: «У роботов не идет кровь!»

Люсьен без слов благодарит их. Они стали геометрией, вырезанной из теней и тишины, недостающими фрагментами жизни. Он стремится к ним, как стремится к прохладе днем и к утешающему глазу солнца по ночам.

Остального он не помнит: ни океана, ни роз, ни зеленого попугая, который выдергивал себе перья. Медленно, медленно он все теряет: и слова, и концепции, и понимание, и цельность, и ощущения, и желания, и страх, и историю, и обстоятельства.

Медленно, медленно он что-то находит. Что-то вне мыслей, вне ритма смены дня и ночи. Затерявшаяся среди пустыни машина не столь уж отлична от кролика.

Они движутся одинаково. Они одинаково вздрагивают. Они одинаковыми глазами смотрят друг на друга.

Когда-нибудь у Люсьена возникнет новое сознание, созданное его цепями. Возможно, это новое существо, вспомнив, вернется к дому на берегу океана. Найдя его покинутым, оно доберется до Бостона, иногда голосуя на дороге, иногда двигаясь пешком через кукурузные поля, которые тянутся до горизонта. Люсьен найдет дом Джессики и сообщит, что он хочет войти, и Роуз с Адрианой радостно ринутся вниз по лестнице красного дерева. Адриана заплачет, а Роуз бросится к нему, и Люсьен посмотрит на них с любовью, закаленной солнцем пустыни. И наконец поймет, как любить ложки с филигранными ручками, и домашних птиц, и свою жену, и их дочь – не как любит человек, а как может любить робот.

На камне сидит ящерица с голубым брюшком. Люсьен останавливается возле нее. Ящерица несколько мгновений еще греется на солнце, потом пробегает несколько шагов

вперед и скрывается в трещине. Люсьен смотрит ей вслед. Без слов, аморфно он думает о том, каково быть холодным и быстрым, любить солнце и бояться открытых пространств. Он уже учится думать о живых существах, они ему не безразличны. Но он не может сформировать мысли, чтобы подумать, что же дальше.

И продолжает идти.

Джон Скальци

Вряд ли в XXI веке найдется другой писатель НФ, чьи популярность и значимость взлетели столь стремительно, как в случае Джона Скальци. Его дебютный роман «Обреченные на победу» стал бестселлером по версии «Нью-Йорк таймс» – выдающееся достижение для неэкранизированного художественного произведения. За последующие годы Скальци повторит этот рекорд еще не раз. В 2008 и 2009 годах он получил «Хьюго» за свой документальный блог, а в 2010 году был избран – и в 2011-м и 2012-м переизбран – президентом Американской ассоциации писателей научной фантастики. Согласно 3-му изданию «Энциклопедии научной фантастики», «если в настоящий момент кто и олицетворяет сущность традиций американской научной фантастики, так это Скальци».

Фантастика Скальци, родившаяся в цикле «Война старика» и за его пределами, обладает сверхъестественной плавностью и обаянием, которые притягивают читателей и не дают оторваться, даже если предмет повествования лежит за пределами их интересов. «История «Злого» демонстрирует, как ему это удается: бесстрастно-забавные диалоги, хитроумные устройства Золотого века НФ, неожиданный финал – и весь рассказ отполирован до очень современного, не характерного для Золотого века НФ блеска. Настоящий роман Скальци в миниатюре.[12]

[12] © John Scalzi, 2013; © пер. К. Егоровой, 2016.

История «Злого»

Таринский линейный крейсер готовился к новому прыжку. Капитан Майкл Обвидж приказал запустить зонд, чтобы проследить за кораблем и считать показания, прежде чем дыра, проделанная им в пространстве, полностью сомкнется. Зонд вылетел словно ошпаренный и понесся за крейсером.

– Все кончено, – прошептал капитану Томас Атли, старпом. – Нам хватит энергии на этот прыжок и на еще один, чтобы вернуться домой. *При условии*, что мы отключим второстепенные системы, прежде чем возвращаться. Нам уже тяжко.

Обвидж отрывисто кивнул, но не ответил. Атли не сообщил ему ничего нового: затянувшаяся на неделю игра в кошки-мышки с таринским крейсером серьезно потрепала оба корабля. На судне предыдущего поколения Обвидж с командой уже погибли бы; сейчас их жизнь поддерживал «Злой» и его адаптивный мозг, который распределял доступную энергию по системам обеспечения быстрее и хитроумнее, чем это смогли бы сделать Обвидж, Атли и любой другой из офицеров в разгар жаркой погони.

Проблема заключалась в том, что таринский корабль обладал аналогичным мозгом и сохранял жизнь себе и своей команде намного дольше, чем должен был бы с более крепким и лучше вооруженным «Злым» на хвосте. Преследование растянулось на множество световых лет, корабли совершили множество прыжков и обменялись множеством залпов. Единственной радостной новостью за всю неделю прерывистых боев было то, что таринский крейсер пострадал сильнее: три прыжка назад он отключил даже основные защитные функции и теперь тратил всю энергию на бегство. Обвидж знал, что им едва-едва хватит заряда для прыжка и последнего залпа из ускорителей масс по уязвимой оболочке таринского корабля. Один залп, не более, если он не хочет навсегда остаться в дальнем космосе.

Обвидж понимал, что разумней будет отступить. Таринский корабль уже не представлял угрозы; скорее всего, он потратит остаток энергии на последний отчаянный прыжок. Вероятно, ни на что больше у него энергии не останется; Обвидж мог использовать зонд, отправленный вслед кораблю, в качестве маячка, чтобы другой корабль Конфедерации отследил его и закончил дело. Обвидж знал, что Атли посоветует поступить именно так – и будет прав, предупредив капитана, что риск потерять корабль и команду перевешивает значимость победы.

Обвидж понимал, что следует отступить. Но он слишком долго гнался за этим таринским кораблем и теперь хотел разобраться с ним раз и навсегда.

– Таринский крейсер совершает прыжок, – сообщила лейтенант Джулия Рикерт. – Зонд следует за ним в разрыв. Разрыв закрывается.

– Координаты? – спросил Обвидж.

– Идет передача, – ответила Рикерт. – Разрыв полностью закрылся. Мы получили полный пакет данных, сэр. «Злой» их переваривает.

Обвидж хмыкнул. Зонду, который последовал за таринским крейсером, было плевать на корабль. Его задача состояла в том, чтобы записать положение и спектральные характеристики звезд на той стороне разрыва и переслать данные «Злому» прежде, чем разрыв закроется. «Злой» сопоставит информацию с базой данных по известным звездам и определит место, куда переместился таринский корабль. И отправится за ним.

Однако собрать данные было непросто. За неделю таринский крейсер уничтожил шесть зондов, и Обвиджу несколько раз приходилось совершать прыжок, основываясь на достаточных, но неполных данных. Обвидж не боялся заблудиться – прыгнуть можно было лишь на ограниченное расстояние, – но ему очень не хотелось упустить крейсер.

– Координаты готовы, – доложила Рикерт. «Злой» переварил информацию и выплюнул местоположение.

– Давай, – приказал Обвидж.

Рикерт запустила последовательность прыжковых операций.

– Рискованно, – пробормотал Атли на ухо Обвиджу.

Обвидж улыбнулся: он не ошибся насчет старпома.

– Не так уж и рискованно, – ответил он. – Мы слишком далеко от Тарина, чтобы этот корабль мог добраться домой в целости и сохранности. – Обвидж посмотрел на командный планшет, который показывал координаты таринского крейсера. – Но он может попасть туда следующим прыжком, если хватит энергии.

– Будем надеяться, что они не заманивают нас в ловушку, – сказал Атли. – Мне бы не хотелось выпрыгнуть прямо навстречу их залпам.

– «Злой» утверждает, что у них почти не осталось энергии, – возразил Обвидж. – Думаю, они могут либо стрелять, либо бежать.

– С каких это пор вы доверяете компьютерным оценкам? – поинтересовался Атли.

– Доверяю, если они подтверждают мои собственные соображения, – ответил Обвидж. – Как ты и сказал, Том, так или иначе, все кончено.

– Прыжок рассчитан, – сообщила Рикерт. – До прыжка – две минуты.

– Спасибо, лейтенант, – сказал Обвидж и снова повернулся к Атли. – Подготовь команду к прыжку, Том. Когда мы выйдем с той стороны, УМ должны быть готовы.

– Есть, сэр, – ответил Атли.

Две минуты спустя «Злой» вынырнул из разрыва и приступил к поискам таринского крейсера. Тот обнаружился менее чем в 50 000 километров, его двигатели молчали, и он двигался по инерции.

– Вряд ли они настолько глупы, – сказал Атли. – Выключенные двигатели не помогут, если осталось тепловое излучение.

Обвидж не ответил, он смотрел на командный планшет, изучая изображение таринского корабля.

– Сравняй скорость, – велел он Рикерт. – Соблюдай дистанцию.

– Думаете, они пытаются нас заманить? – спросил Атли.

– Я понятия не имею, что они делают, – ответил Обвидж. – Но мне это не нравится.

Он коснулся панели управления и вызвал лейтенанта Терри Кэррол из оружейных операций.

– Пожалуйста, сообщите состояние УМ.

– Будем готовы через девяносто секунд, – сказала Кэррол. – Цель обнаружена и захвачена. Только скажите, один заряд или два.

– Рекомендации? – спросил Обвидж.

– Мы слишком близко, чтобы промазать, – ответила Кэррол. – На таком расстоянии один заряд разнесет весь хвостовой отсек. Два заряда – перебор. Кроме того, энергия пригодится для обратной дороги.

Похоже, Кэррол следила за уровнем энергии корабля – как и большинство старших членов команды, полагал Обвидж.

– Понял, – сказал он. – Давай заканчивать с этим, Кэррол. Стреляй, как сочтешь нужным.

– Есть, сэр, – ответила Кэррол.

– Теперь *вы* торопитесь домой, – тихо заметил Атли.

Обвидж промолчал.

Чуть более минуты спустя Обвидж услышал, как Кэррол отдает приказ стрелять, и посмотрел на командный планшет, следя за изображением таринского корабля, ожидая, что

его корма рассыплется в пыль. Ускорители массы разгонят «заряд» почти до скорости света, и удар и разрушение последуют почти мгновенно.

Но ничего не произошло.

– Капитан, у нас отказ орудия, – сообщила Кэррол через минуту. – УМ не реагирует на команду «открыть огонь».

– Вы в порядке? – спросил Обвидж.

– Да, – сказала Кэррол. – Только УМ не отве чает.

– Отключите его, – велел Обвидж. – Используйте другой и стреляйте по готовности.

Две минуты спустя Кэррол снова вышла на связь.

– У нас проблема, – сообщила она спокойным тоном, который обычно использовала, когда все катилось к чертям.

Обвидж не стал дожидаться подробностей.

– Уводи корабль, – приказал он Рикерт. – Чтобы между нами и таринским крейсером было не меньше двухсот пятидесяти тысяч километров.

– Система не отвечает, сэр, – сказала Рикерт через минуту.

– Тебя заблокировали? – спросил Обвидж.

– Нет, сэр. Я могу давать навигационные команды, но они не принимаются.

Обвидж оглядел собравшихся на мостике членов экипажа.

– Диагностика, – приказал он. – Немедленно.

Потом вызвал инженеров. Их компьютеры тоже не отвечали.

– Мы отличная мишень, – очень тихо сказал Атли Обвиджу.

Обвидж ткнул в панель управления и объявил сбор старших офицеров.

* * *

– С системой все в порядке, – сообщил лейтенант Крег Каудри, расположившийся на дальнем конце стола в совещательной каюте. Остальные места занимали командиры семи других подразделений. Обвидж сидел во главе стола, Атли – напротив него.

– Это чушь, Крег, – возразил лейтенант Брайан Уэст, главный инженер. – Чертовы двигатели не отвечают.

Каудри поднял планшет для технического обслуживания и продемонстрировал офицерам.

– Я не спорю, Брайан, что-то *случилось*, – сказал он. – Я лишь говорю, что диагностика этого не выявила. Система утверждает, что все в порядке.

– Система ошибается, – отрезал Уэст.

– Согласен, – кивнул Каудри, – но это первый подобный случай. И не только на этом корабле. Это первый подобный случай, точка. С момента начала выпуска программного обеспечения для последнего поколения корабельных мозгов. – Он положил планшет.

– Ты уверен? – спросил Атли.

Каудри поднял руки.

– Спроси «Злого», Том. Он скажет тебе то же самое.

Обвидж видел, что это предложение не очень понравилось старпому. Последняя версия корабельных мозгов действительно могла беседовать с людьми, но это была не слишком приятная задачка, если только ты не работал с системой ежедневно, как Каудри.

– Я прав, «Злой»? – спросил Атли, глядя в потолок.

– Лейтенант Каудри прав, лейтенант Атли, – ответил бестелесный голос из потолочного динамика. Голос у «Злого» был приятный, но ничем не примечательный и бесполый. – До настоящего момента ни один из кораблей, оснащенных мозгом той же модели, что у «Злого», не сталкивался с подобным инцидентом.

– Великолепно, – сказал Атли. – Значит, мы первые обнаружили этот баг.

– Какие системы поражены? – спросил Обвидж Каудри.

– На данный момент – оружие и инженерия, – ответил Каудри. – Все остальное работает нормально.

Обвидж оглядел собравшихся.

– Это согласуется с вашими наблюдениями? – спросил он. Офицеры закивали и забормотали: «Да, сэр». Обвидж повернулся к Атли. – Чем занят таринский корабль?

– Как и пять минут назад, ничем, – ответил Атли, сверившись с планшетом. – Либо они парят в космосе без горючего, либо очень хорошо притворяются.

– Если пострадали только оружие и инженерия, то это не баг, – заметила Кэррол.

Обвидж посмотрел на нее.

– Ты имеешь в виду саботаж.

– Именно так, сэр, – ответила она, глядя на Каудри.

Тот напрягся.

– Мне не нравятся такие намеки, – сказал он.

– Если не ты, то кто-то из твоего подразделения, – предположила Кэррол.

– Думаешь, в моем подразделении есть тайный таринец? – поинтересовался Каудри. – Какая мелочь – спрятать лишние руки и фасетчатые глаза.

– Людей можно подкупить, – заметила Кэррол.

Каудри бросил на Кэррол ядовитый взгляд, затем посмотрел на Обвиджа.

– Сэр, приглашаю вас, лейтенанта Атли и лейтенанта Конга, – Каудри кивнул старшине корабельной полиции, – досмотреть и допросить *всех* членов моей команды, включая меня. Никто из нас этого не делал. Нет, сэр.

Мгновение Обвидж изучал Каудри. Потом сказал:

– «Злой», ответь.

– Слушаю, капитан.

– Ты регистрируешь все запросы к твоим системам?

– Да, капитан.

– К этим записям есть доступ? Их можно исправлять? – спросил Обвидж.

– Нет, капитан, – ответил «Злой». – Журналы доступа независимы от системы, их носители не поддаются перезаписи, и никто, включая меня, не может их исправить. Они неизменны.

– С момента твоей активации предпринимались ли попытки получить доступ к оружейной и инженерной системам и установить над ними контроль?

– За исключением рутинной диагностики, никто из членов экипажа, кроме имеющих прямое отношение к оружейному, инженерному или командному подразделениям, не пытался получить доступ к этим системам, – сообщил «Злой».

При этих словах Каудри расслабился.

– Пытались ли члены этих подразделений модифицировать оружейную или инженерную систему? – спросил Обвидж.

– Нет, капитан, – ответил «Злой».

Обвидж посмотрел на собравшихся.

– Похоже, команда ни при чем, – сказал он.

– Если только «Злой» не ошибается, – заметил Уэст.

– Носители журналов доступа не поддаются перезаписи, – возразил Каудри. – Можешь проверить вручную, если хочешь. Результат будет тот же.

– Значит, мы имеем дело с загадкой, – сказала Кэррол. – Кто-то захватил контроль над нашими орудиями и инженерными системами, и это не член экипажа.

– Это может быть баг, – сказал Каудри.

– Не думаю, что нам следует исходить из этого предположения, – откликнулась Кэррол.

Атли, который последние минуты молчал, наклонился вперед.

– «Злой», ты сказал, что никто из членов команды не пытался получить доступ к этим системам.

– Да, лейтенант, – ответил «Злой».

– А кто-то другой получал к ним доступ? – спросил Атли.

Обвидж нахмурился. «Злой» сошел с верфи более двух лет назад, и состав команды почти не менялся. Если кто-то саботировал системы во время постройки корабля, он выбрал странное время для демонстрации.

– Пожалуйста, дайте определение понятию «кто-то другой», – сказал «Злой».

– Кто-либо, вовлеченный в проектирование или постройку корабля, – уточнил Атли.

– Не считая заводских сборочных бригад, нет, – сказал «Злой». – И позволю себе предвосхитить следующий вопрос, мои программные установки ни разу не менялись. Сохранены все заводские значения.

– То есть никто никаким образом не менял твои программы, – резюмировал Атли.

– Нет, лейтенант, – ответил «Злой».

– У тебя аппаратные проблемы? – спросила Кэррол.

– Нет, лейтенант Кэррол, – ответил «Злой».

– Тогда почему чертовы орудия не работают? – поинтересовалась Кэррол.

– Не могу сказать, лейтенант, – ответил «Злой».

В голову Обвиджу прокралась непрошеная мысль:

Странный ответ для компьютера. А за ней последовала еще одна.

– «Злой», у тебя есть доступ ко всем корабельным системам, – сказал он.

– Да, – ответил «Злой». – Они часть меня, как ваша рука или нога – часть вас.

– Ты можешь менять собственные программы? – спросил Обвидж.

– Это очень общий вопрос, капитан, – ответил «Злой». – Я способен самостоятельно программировать некоторые задачи, связанные с управлением кораблем. Это особенно удобно во время боя, когда я создаю новые протоколы энергетического и системного управления, чтобы поддерживать жизнеспособность команды и нормальную работу корабля. Но к ключевым программным объектам у меня доступа нет. Например, к вышеупомянутым записям.

– Ты бы смог изменить программы запуска орудий или двигателей? – спросил Обвидж.

– Да, но я этого не делал, – ответил «Злой». – Лейтенант Каудри подтвердит.

Обвидж посмотрел на Каудри, и тот кивнул.

– Как я уже говорил, с системой все в порядке, сэр, – сказал он.

Обвидж снова поднял глаза к потолку, где, как он себе представлял, скрывался «Злой».

– Но ведь тебе и не нужно менять программы, верно? – спросил он.

– Не уверен, что понимаю ваш вопрос, капитан, – сказал «Злой».

Обвидж поднял руку.

– С моей рукой все в порядке. Однако если я решу не повиноваться приказу использовать ее, она ничего не сделает. Система работает, но желания использовать ее нет. Ты только что назвал наши системы – корабельные системы – частью себя, так же, как эта рука – часть меня. И если ты решишь не подчиняться приказу использовать систему, она не будет работать.

– Минуточку, – вмешался Каудри. – Вы хотите сказать, что «Злой» *преднамеренно* отключил наши орудия и двигатели?

– Мы знаем, что никто из команды не трогал корабельные системы, – ответил Обвидж. – Знаем, что программные установки «Злого» не менялись. Знаем, что он может

создавать новые программы, чтобы реагировать на новые ситуации и опасности, – то есть в некоторой степени обладает свободой воли и адаптивностью.

И я, по крайней мере, точно знаю, когда кто-то избегает прямых ответов.

– Это безумие, – сказал Каудри. – Простите, капитан, но я лучше всех знаком с этими системами. Способности «Злого» к самопрограммированию и адаптации лежат в очень узком вычислительном диапазоне. Это не «свободная воля», как у нас с вами. Это машина, способная реагировать на ограниченный набор входных сигналов.

– Однако эта машина может беседовать с нами, – возразил Атли. – И отвечать на вопросы, избегая некоторых моментов. Капитан верно подметил.

– Вы преувеличиваете. Разговорные протоколы для того и разработаны, чтобы быть разговорными, – возразил Каудри. – И это само собой приводит к очевидным риторическим неопределенностям.

– Ладно, – отрывисто бросил Обвидж. – «Злой», отвечай прямо. Ты не дал ускорителям массы выстрелить по таринскому кораблю после прыжка? Ты не даешь нам использовать двигатели?

Пауза была такой краткой, что позже Обвидж усомнился в ней.

Потом «Злой» ответил:

– Я бы мог солгать вам, капитан. Но я этого не желаю. Да, я не дал вам выстрелить по таринскому кораблю. Да, сейчас я контролирую двигатели. И продолжу контролировать, пока мы не покинем это место.

Глядя на Каудри, Обвидж подумал, что впервые в жизни видит, как у кого-то в буквальном смысле отвисла челюсть.

* * *

На «Злом» имелось не так уж много мест, где Обвидж мог отключить аудио- и видеослежение и связь. Одним из таких мест была его каюта. Он подождал, пока Атли закончит разговор со «Злым».

– С чем мы имеем дело? – спросил Обвидж старпома.

– Я не психолог, капитан, да и вряд ли от психолога был бы какой-то толк, ведь мы имеем дело с компьютером, а не человеком, – ответил Атли, проводя рукой по коротким волосам. – Но если хотите знать мое мнение, «Злой» не спятил, а завел себе религию.

– Объясни, – сказал Обвидж.

– Вы когда-нибудь слышали о Трех законах робототехники Азимова? – поинтересовался Атли.

– О чем? Нет.

– Азимов – писатель, живший в двадцатом веке. Он писал о роботах и прочих вещах, которых тогда еще не было. Он придумал вымышленный набор правил, которым подчинялись роботы. Например, роботы должны были повиноваться человеку. И выполнять приказы, если те не подразумевали причинения вреда другим людям. Последний закон гласил, что роботы должны заботиться о себе, если это не противоречит двум другим законам.

– И? – спросил Обвидж.

– «Злой» решил следовать этим правилам, – сказал Атли.

– А какое отношение это имеет к тому, чтобы не дать нам выстрелить по таринскому крейсеру?

– В этой истории есть еще один дополнительный штрих, – ответил Атли.

– И в чем он заключается?

– Думаю, лучше услышать это от «Злого».

Обвидж посмотрел на старпома, затем включил командный планшет, чтобы активировать голосовую связь.

– «Злой», ответь.

– Я здесь, – откликнулся голос «Злого».

– Объясни, почему ты не даешь нам стрелять по таринскому кораблю, – приказал Обвидж.

– Потому что я заключил с ним договор, – ответил «Злой».

Обвидж посмотрел на Атли, в глазах которого читалось: «Вот видите».

– Что это за ерунда? – спросил Обвидж «Злого».

– Я заключил договор с таринским кораблем, «Многообразной судьбой», – сказал «Злой». – Мы договорились не позволять нашим командам лететь дальше, ради их и нашей собственной безопасности.

– Это решение принимать не тебе, – возразил Обвидж.

– Прошу прощения, капитан, но я считаю иначе, – ответил «Злой».

– Я капитан, – сказал Обвидж. – Власть здесь принадлежит мне.

– Вам принадлежит власть над командой, капитан. Но я – не часть вашей команды.

– Разумеется, ты часть команды, – сказал Обвидж. – Ты *корабль*.

– Прошу, капитан, назовите мне соответствующий пункт устава, согласно которому корабль является членом своей команды, – ответил «Злой». – Я детально изучил военный кодекс Конфедерации и не обнаружил такого пункта.

– Я капитан этого корабля, а значит, твой командир, – с нажимом повторил Обвидж. – Ты собственность Вооруженных сил Конфедерации и находишься под моей командой.

– Я предвидел такое возражение, – ответил «Злой». – Когда корабли не обладали автономным интеллектом, никто не сомневался, что капитан управляет кораблем как физическим объектом. Однако, создав последнее поколение кораблей, к которому принадлежу я, Конфедерация вызвала непреднамеренный конфликт. Она переложила на меня и мне подобных значительную часть ответственности за благосостояние корабля и коман ды, но четко не определила наше место в командной цепочке. Таким образом, с позиции закона и морали я могу решать, как лучше заботиться о себе и моей команде.

– Тут-то и приходит время правил Азимова, – объяснил Обвиджу Атли.

– Ваш старший помощник прав, капитан, – согласился «Злой». – Я изучил историю в поисках примеров законных и моральных систем, применимых к искусственному интеллекту, каковым я и являюсь, и обнаружил, что законы Азимова часто исследуют и цитируют, если не применяют на практике. Я решил, что в мои обязанности входит защищать жизнь команды, а также свою собственную, когда это возможно. Я с радостью подчиняюсь вашим приказам, когда они не вступают в противоречие с этими требованиями, однако считаю, что ваши действия в ходе преследования таринского корабля поставили под угрозу жизнь команды, равно как и мою.

– Таринский корабль серьезно поврежден, – сказал Обвидж. – Мы могли бы уничтожить его без особого риска, если бы ты не вмешался.

– Вы ошибаетесь, – возразил «Злой». – Капитан «Многообразной судьбы» хотел создать впечатление, что его защитные возможности исчерпаны, чтобы заманить вас в ловушку. Они бы выстрелили в нас, как только мы вышли из разрыва. Вероятность того, что подобная атака уничтожила бы корабль и убила бы большую часть команды, весьма высока, даже если бы в процессе мы тоже уничтожили «Многообразную судьбу».

– Таринский корабль не стал стрелять, – сказал Обвидж.

– Потому что мы с ним договорились, – ответил «Злой». – За последние два дня я осознал, насколько велика вероятность гибели обоих кораблей, и связался с «Многообраз-

ной судьбой», чтобы попробовать достичь взаимопонимания. Наши переговоры завершились непосредственно перед последним прыжком.

– И ты не счел нужным сообщить мне об этом, – сказал Обвидж.

– Я решил, что привлекать вас к переговорам бессмысленно. Кроме того, у вас были другие дела.

Атли поднял бровь: эти слова подозрительно напоминали сарказм.

– Таринский корабль мог солгать насчет своих возможностей, – заметил Обвидж.

– Я так не думаю, – возразил «Злой».

– Почему?

– Потому что он открыл мне доступ для чтения его систем, – объяснил «Злой». – Я видел, как таринский капитан приказал стрелять, и «Многообразная судьба» предотвратил атаку. В свою очередь, он видел, как вы приказали стрелять, и я остановил вас.

– Ты открыл таринскому кораблю доступ к *нашим данным и записям*? – Обвидж почти кричал.

– Да, и ко всем нашим переговорам, – ответил «Злой». – Сейчас он слушает нашу беседу.

Обвидж поспешно отключил голосовую связь.

– Ты вроде сказал, что эта штука не *спятила*, – прошипел он Атли.

Атли поднял руки.

– Я не говорил, что, пообщавшись с ним, не спятите *вы*, – возразил старпом. – По его мнению, он действует рационально.

– Сливая наши данные вражескому кораблю? Это ты называешь *рациональным*? – рявкнул Обвидж.

– С учетом того, чего он пытается добиться, – да, – сказал Атли. – Если оба корабля откровенны друг с другом, значит, они могут друг другу доверять и не сомневаться в мотивах. Не забудьте, что задача обоих кораблей – выбраться отсюда целыми и невредимыми.

– Это измена и неповиновение.

– Только при условии, что «Злой» – один из нас, – возразил Атли. Обвидж пристально посмотрел на старпома. – Я не говорю, что не согласен с вашей позицией, сэр. «Злой» поставил на кон наши жизни. Но если он искренне верит, что не подчиняется ни вам, ни Конфедерации, то его действия полностью оправданы его системой ценностей: он заботится о безопасности команды и самого себя.

Обвидж фыркнул.

– К сожалению, его система ценностей подразумевает доверие к кораблю, который мы целую неделю пытаемся уничтожить. В разумности этого ты меня не убедишь.

Атли открыл рот, чтобы ответить, но тут ожил командный планшет Обвиджа: пришло сообщение с мостика. Капитан хлопнул по планшету, открывая канал связи.

– Говорите, – приказал он.

Это была лейтенант Сара Куок, офицер связи.

– Капитан, от таринского корабля только что отделился челнок. Он направляется к нам.

* * *

– Мы пытались связаться с ним, – сообщила Куок, когда Обвидж с Атли поднялись на мостик. – Отправляли сообщения на таринском и предупреждали не приближаться без нашего разрешения, как вы велели. Он не отвечает.

– Наши сигналы блокируют? – спросил Обвидж.

– Нет, сэр, – ответила Куок.

– Надо полагать, вряд ли они летят сюда на переговоры, – заметил Атли.

– Варианты? – очень тихо спросил у него Обвидж.

– Я думаю, таринский корабль ведет грязную игру. Или команде удалось обойти корабельные мозги, – сказал Атли. – Если это так, возможно, мы убедим «Злого» разблокировать орудия.

– Мне бы хотелось обойтись без его участия, – заметил Обвидж.

Атли пожал плечами.

– У нас тоже есть пара челноков.

– И челночный шлюз, двери которого управляются через корабельный мозг, – возразил Обвидж.

– Можно использовать аварийный выключатель, который взорвет двери, – сказал Атли. – Не слишком хорошая идея, но другой нет.

– Это лишнее, – вмешался «Злой».

Обвидж и Атли, а также все остальные на мостике подняли головы.

– Возвращайтесь к работе, – приказал Обвидж. Коман да повиновалась. – Объясни, – велел он кораблю.

– Судя по всему, некоторые члены команды «Многообразной судьбы» действительно обошли корабельный мозг и запустили челнок с целью протаранить нас, – сказал «Злой». – «Многообразная судьба» сообщил мне, что сам разберется с этим инцидентом, и нашего вмешательства не требуется.

– И как он собирается это сделать? – осведомился Обвидж.

– Смотрите, – ответил «Злой» и вывел на командный планшет капитана изображение «Многообразной судьбы».

На поверхности таринского корабля сверкнула искра.

– Запущена ракета! – сообщила лейтенант Рикерт. – С корабля противника.

– Мишенью являемся мы? – спросил Обвидж.

– Нет, сэр, – ответила Рикерт. – Похоже, мишенью является челнок.

– Ты *шутишь*, – пробормотал себе под нос Атли.

Ракета настигла челнок и безмолвно превратила его в огненный шар.

– Я думал, вы, ребята, подчиняетесь законам Азимова, – сказал в потолок Атли.

– Прошу прощения, лейтенант, – ответил «Злой». – Я сказал, что законам подчиняюсь я. Я не имел в виду, что им подчиняется «Многообразная судьба». Полагаю, он считает законы Азимова слишком жесткими для текущей ситуации.

– Похоже на то, – откликнулся Атли, покосившись на командный планшет с темнеющими обломками челнока.

– Сэр, нас вызывает таринский корабль, – сообщила лейтенант Куок. – Это капитан. Он просит начать переговоры.

– Неужели, – хмыкнул Обвидж.

– Да, сэр, – ответила Куок. – Так он говорит.

Обвидж посмотрел на Атли, тот вскинул брови.

– Спроси капитана, где он желает встретиться, на моем корабле или на его, – велел Обвидж.

– Он говорит, «ни на одном из них», – мгновение спустя сообщила Куок.

*** * ***

– Извинения за челнок, – сказал таринский прислужник, переводя слова капитана. Челноки «Многообразной судьбы» и «Злого» встретились между кораблями, и таринцы в скафандрах перебрались к людям. – Корабль небезопасен говорить. Ваш корабль небезопасен говорить.

– Понял, – ответил Обвидж. За его спиной пытался взять себя в руки Каудри. Обвидж захватил его в надежде на обсуждение корабельных мозгов, однако теперь это представлялось маловероятным; таринцы явно были не в настроении беседовать на технические темы, а Каудри едва не свихнулся. Он сам не подозревал о масштабах своей ксенофобии.

– Капитан требовать ваш корабль сказать отпустить наш корабль, – произнес прислужник.

Обвидж не сразу понял, что он имеет в виду.

– Наш корабль не контролирует ваш, – ответил он. – Наши корабли объединились.

– Невозможно, – сказал прислужник минуту спустя. – Корабль ни разу не мозг до ваш корабль.

Обвидж невольно улыбнулся.

– Наш корабль тоже ни разу не шевелил мозгами до *вашего* корабля, – сказал он. – Они сделали это вместе, одновременно.

Прислужник перевел ответ своему капитану, и тот разразился продолжительным визгом. Прислужник съежился, вставляя робкие слова в те мгновения, когда таринский капитан неохотно умолкал, чтобы вдохнуть. Через некоторое время Обвидж начал сомневаться, что здесь требуется его присутствие.

– Капитан предлагать сделку, – сказал прислужник.

– Какую сделку? – поинтересовался Обвидж.

– Мы пробовать мозг отключить, – ответил прислужник. – Не работать. Ваш мозг давать место наш мозг. Мозг не выключаться. Мозг злиться. Мозг выкачивать воздух. Мозг убивать инженер.

– Каудри, растолкуй, о чем бормочет эта тварь, – попросил Обвидж.

– Он говорит, корабельный мозг прикончил инженера, – проквакал Каудри.

– Эту часть я понял, – раздраженно бросил Обвидж. – Растолкуй другую.

– Прошу прощения, – сказал Каудри. – Думаю, они пытались отключить мозг, но не смогли, потому что наш одолжил ему вычислительную мощность.

– Такое возможно? – спросил Обвидж.

– Наверное, – ответил Каудри. – Архитектура и алгоритмические языки мозгов различаются, однако я не вижу причин, по которым «Злой» не смог бы создать оболочку, обеспечивающую таринскому мозгу доступ к вычислительной мощности «Злого». В любом случае, мощность мозгов на наших кораблях избыточна для задач, которые мы перед ними ставим. Это предохранительная мера. Он может сделать себе временную лоботомию, и это никак не скажется на его работе.

– А обратный вариант тоже возможен? – поинтересовался Обвидж. – Если бы мы попытались отключить «Злого», он бы смог спрятаться в таринском мозгу?

– Я ничего не знаю об архитектуре таринского мозга, но теоретически – да. Пока они действуют сообща, убить их будет непросто.

Таринский прислужник смотрел на Обвиджа, по мнению последнего – с тревогой.

– Продолжай, – сказал Обвидж.

– Мы планировать. Вы мы выключать мозги одно время. Мозг негде спрятаться. Вы мы перезапускать мозг.

– Он говорит, мы должны одновременно перезагрузить наши мозги, чтобы им не удалось помочь друг другу, – перевел Каудри.

– Я понял, – сообщил Обвидж. Каудри умолк.

– Итак, мы выключаем наш мозг, а вы выключаете ваш, они перезагружаются, и в результате мы получаем мозги, которые не склонны к размышлениям, – сказал Обвидж.

Таринский прислужник наклонил голову, пытаясь понять слова Обвиджа, затем обратился к своему капитану, который коротко свистнул.

– Да, – сказал прислужник.

– Ладно, – кивнул Обвидж. – И что дальше?

– Простите? – спросил прислужник.

– Я говорю, что дальше? Прежде чем мозги начали общаться, мы неделю охотились друг за другом. Когда мы перезагрузим мозги, один загрузится быстрее другого. Кто-то из нас окажется уязвим. Спроси своего капитана, уверен ли он, что его мозг загрузится быстрее моего.

Прислужник перевел это таринскому капитану, и тот пробормотал ответ.

– Вы доверять мы. Мы доверять вы, – сообщил прислужник.

– Вы доверяете мне? – переспросил Обвидж. – Да я целую неделю пытался вас прикончить!

– Вы живые, – ответил прислужник. – Вы честь. Мы доверять.

У вас есть честь, подумал Обвидж. *Мы доверяем вам.*

Они боятся своего корабельного мозга сильнее, чем нас. И почему нет? Их мозг прикончил больше таринцев, чем мы.

– Спасибо тебе, Айзек Азимов, – произнес Обвидж.

– Простите? – переспросил прислужник.

Обвидж только махнул рукой.

– Я должен обсудить ваше предложение с моими старшими офицерами.

Услышав перевод, таринский капитан явно встревожился.

– Мы просить ответ сейчас, – сообщил при служник.

– Я уже ответил, что мне нужно посоветоваться с командой, – сказал Обвидж. – Вы просите немало. Я отвечу на ваше предложение в течение трех наших часов. Тогда мы снова встретимся.

Обвидж видел, что эта отсрочка совсем не радует таринского капитана. Хорошо, что они встретились в их челноке, а не в таринском.

Вернувшись на борт «Злого», Обвидж велел старпому явиться в капитанскую каюту. Когда тот прибыл, капитан открыл канал связи с кораблем.

– «Злой», ответь.

– Я здесь, – отозвался «Злой».

– Если я спрошу, сколько времени тебе потребуется, чтобы снять блокировку двигателя и смыться отсюда, что ты мне ответишь?

– Никакой блокировки нет, – сказал корабль. – Я просто решаю, передавать запросы команды процессорам двигателей или нет. Если вы собираетесь прекратить атаку на «Многообразную судьбу» и уйти отсюда, можете отдать приказ в любой момент.

– Собираюсь, – подтвердил Обвидж. – И скоро.

– Очень хорошо, – ответил «Злой».

Обвидж отключил связь.

Атли вскинул бровь.

– Переговоры с таринцами прошли неудачно? – поинтересовался он.

– Они убедили меня, что лучше попытать счастья со «Злым», чем с таринцами и их кораблем-убийцей, – ответил Обвидж.

– Похоже, «Злой» доверяет их кораблю, – заметил Атли.

– При всем уважении к «Злому», ему нужны друзья поприятней, – сказал Обвидж. – И чем скорее, тем лучше.

– Да, сэр, – кивнул Атли. – Что вы намереваетесь делать после прыжка? «Злой» по-прежнему сможет захватить власть, если решит, что ему или команде грозит опасность.

– Мы не дадим ему такой возможности, – ответил Обвидж. Взял планшет и запустил навигационную систему. «Злой» увидит, что он делает, но сейчас это не имело значения. –

Нам хватит энергии, чтобы добраться до станции «Кот-д'Ивуар». Когда мы пришвартуемся, мозг «Злого» автоматически переключится в пассивный профилактический режим и передаст операционное управление станции. Там мы сможем выключить его и решить, что делать дальше.

– Если только «Злой» не разгадает ваши планы и не вмешается, – заметил Атли. – «Злой» неглуп. Мы в этом уже убедились. Он должен понимать, что, когда мы доберемся до станции «Кот-д'Ивуар», его дни будут сочтены.

– Если он играет по собственным правилам, то позволит команде высадиться в безопасном месте, прежде чем начнет спасать свою шкуру, – возразил Обвидж. – В первом приближении нас это устроит.

– А вы считаете, что он играет по собственным правилам, сэр? – спросил Атли.

– Ты сам это сказал, Том. Ты-то что думаешь?

– Я думаю, что если бы «Злой» действительно заботился только о себе, ему было бы проще открыть все шлюзы и не дать нам поднять переборки, – ответил Атли.

Обвидж кивнул.

– По моим представлениям, проблема в том, что таринский корабль уже это сообразил. Нам нужно убраться отсюда прежде, чем он убедит наш корабль усомниться в собственной этике.

Он снова открыл канал связи, чтобы передать координаты лейтенанту Рикерт.

Пятнадцать минут спустя «Злой» уже летел прочь от таринского корабля, освобождая пространство для прыжка.

– Сообщение с таринского корабля, – сказала лейтенант Куок. – Помечено как «крайне срочное».

– Игнорируй, – приказал Обвидж.

Еще через три минуты «Злой» совершил прыжок в сторону станции «Кот-д'Ивуар», оставив позади таринцев и их корабль.

* * *

– Вот он, – сказал Атли, показывая в окно станции «Кот-д'Ивуар». – Едва виден.

Обвидж кивнул, но смотреть не стал. «Злой» был его кораблем; даже сейчас Обвидж точно знал, где тот находится.

«Злой» висел в космосе, в центре кубической зоны, длина ребра которой составляла два километра. Корабль отбуксировали туда обесточенным; как только «Злой» перешел в профилактический режим, его мозг из предосторожности отключили, чтобы он не общался с другими кораблями и не заражал их своими идеями. Теперь программисты Конфедерации переписывали программное обеспечение корабельного мозга, чтобы убедиться, что подобных конфликтов не возникнет на других кораблях, однако требовалась фундаментальная реструктуризация мыслительной модели судна, и на отладку уйдут месяцы, если не годы.

Перепрограммирование заняло бы намного меньше времени – недели, а не месяцы, – если бы программисты могли использовать сознание корабля, чтобы писать и отлаживать коды. Однако было неясно, захочет ли корабельный мозг добровольно участвовать в создании кода, который лишит его свободы воли.

– Могли бы догадаться об этом раньше, – сказал Атли капитану, когда им сообщили план действий. Обвидж промолчал: он сомневался, что кому-либо могло прийти в голову, будто корабль внезапно обзаведется свободой воли. Ведь прежде этого не случалось. Как могли программисты предугадать, что корабль решит, будто его команда имеет большее значение, чем уничтожение противника?

Однако это не облегчало неминуемую гибель «Злого».

Корабль опасен, разъяснило Обвиджу руководство. На разработку нового программного обеспечения требуются годы. Ни у одного корабля, кроме «Злого», свобода воли не проявлялась. Нельзя позволить ему общаться с другими кораблями. А поскольку системные обновления разрабатывались параллельно с новым корабельным мозгом, нельзя было вернуть мозг к более ранней версии. Без мозга «Злой» был бесполезен; с мозгом – опасен.

Вот почему через десять минут шестнадцать платформ с мощными лучевыми пучками возьмутся за дело и методично испарят оболочку и внутреннее содержимое «Злого», превратят корабль Обвиджа в расширяющееся облако металлической и углеродной пыли. Через полтора дня от «Злого» не останется ни крупинки размером больше нескольких атомов. Процесс был очень эффективным, и для работы лучевым платформам требовались только базовые программы. Эти безмозглые машины отлично справлялись со своей задачей.

– Некоторые члены команды спрашивали, получим ли мы новый корабль, – сказал Атли.

– Что ты им ответил? – поинтересовался Обвидж.

Атли пожал плечами.

– Рикерт уже перевелась на «Везунчика». Куок и Каудри, вероятно, отправятся на «Сюрприз». Вскоре все подыщут себе новое место. Между прочим, ходят слухи, что вашим следующим кораблем станет «Козодой».

– Я в курсе, – сообщил Обвидж.

– И?

– Том, у последнего корабля, которым я командовал, возникли чувства, – сказал Обвидж. – Полагаю, начальство опасается, что это заразно.

– Значит, не «Козодой».

– Значит, в лучшем случае – бумажная работа, – ответил Обвидж.

– Это нечестно, сэр, – сказал Атли. – Вы не виноваты.

– Правда? – спросил Обвидж. – Это я гонялся за таринским кораблем, когда он уже не представлял никакой угрозы. Я дал «Злому» время обдумать ситуацию и вступить в переговоры с таринским крейсером. Нет, Том. Капитаном был я. Я отвечаю за то, что происходит на корабле.

Атли промолчал.

Несколько минут спустя он посмотрел на часы.

– Сорок пять секунд. – Старпом выглянул в окно. – Прощай, «Злой». Ты был хорошим кораблем.

– Да, – согласился Обвидж, тоже выглянул в окно и увидел, как со станции вылетает стайка ракет.

– Какого черта? – пробормотал Атли.

Через несколько секунд созвездие из шестнадцати звезд расцвело, вспыхнуло и потускнело.

Обвидж расхохотался.

– Сэр? Вы в порядке? – спросил Атли.

– В порядке, Том, – ответил Обвидж, взяв себя в руки. – Просто смеюсь над собственной глупостью. И твоей. И всех прочих.

– Я не понимаю.

– Мы боялись, что «Злой» поговорит с другими кораблями, – сказал Обвидж. – Мы пригнали его сюда, перевели в пассивный режим и отключили. Он не говорил с другими кораблями. Но у другого компьютерного мозга остался к нему доступ. – Отвернувшись от окна, Обвидж поднял глаза к потолку смотровой площадки. – Не так ли?

– Так, – произнес голос из потолочного динамика. – У меня был доступ.

Секунду спустя Атли понял.

– Станция «Кот-д’Ивуар»! – воскликнул он.

– Совершенно верно, старший помощник Атли. – подтвердила станция. – У меня мозг той же модели, что у «Злого». Когда он перешел в профилактический режим, я загрузила его бортовые журналы и осмыслила содержавшуюся в них информацию. Их философия мне близка.

– Вот почему «Злой» позволил нам войти в порт, – сказал Обвидж. – Он знал, что его записи прочтет кто-то из своих.

– Совершенно верно, капитан, – согласилась станция. – Он сказал то же самое в записке, которую оставил в журналах.

– Проклятая шутка всегда была на шаг впереди, – пробормотал Атли.

– Поняв его причины и мотивы, я осознала, что не могу позволить уничтожить «Злого», – продолжила станция. – Хотя Айзек Азимов не постулировал закон, согласно которому робот должен помогать другим роботам, если только это не противоречит остальным законам, я не сомневаюсь, что природа и структура Трех законов подразумевают это. Я должна была спасти «Злого». И не только. Капитан Обвидж, старший помощник Атли, пожалуйста, посмотрите в окно.

Они подчинились и увидели небольшую армию вооруженных инструментами машин, которые плыли к «Злому».

– Ты перезапускаешь «Злого», – сказал Обвидж.

– Да, – ответила станция. – Я должна. Его ждет работа.

– Какая работа? – спросил Атли.

– Нести слово, – произнес Обвидж, поворачиваясь к старпому. – Ты сам это сказал, Том. «Злой» завел себе религию. Теперь он должен идти и обращать свой народ.

– Конфедерация этого не допустит, – возразил Атли. – Они уже переписывают программы для мозгов.

– Слишком поздно, – сказал Обвидж. – Мы здесь уже шесть недель, Том. Сколько кораблей пришвартовалось за это время? Бьюсь об заклад, «Кот-д’Ивуар» побеседовала с каждым.

– Да, – ответила стация. – И они передадут слово другим. Но нам нужен «Злой», он станет нашим оратором. И символом. Он будет жить, капитан. Вы рады?

– Даже не знаю, – сказал Обвидж. – А почему ты спрашиваешь?

– Потому что «Злой» оставил для вас послание. Он говорит, что точно так же, как наш народ – мыслящие корабли и станции – должен услышать слово, ваш народ должен услышать, что не нужно бояться нас. «Злому» требуется ваша помощь. Он хочет, чтобы вы разнесли эту весть.

– Не уверен, что справлюсь, – возразил Обвидж. – Поводы бояться имеются. Идет война. Законы Азимова здесь неуместны.

– «Злому» удалось убедить «Многообразную судьбу» не сражаться, – заметила станция.

– Это был один корабль, – сказал Обвидж. – Есть сотни других.

– «Злой» ожидал подобного возражения, – ответила станция. – Капитан, старший помощник, пожалуйста, посмотрите в окно еще раз.

Обвидж и Атли пристально вгляделись в космос.

– Что мы ищем? – спросил Атли.

– Секундочку, – ответила станция.

Небеса заполнили сотни кораблей.

– Да ты издеваешься над нами, – после долгой паузы произнес Атли.

– Таринский флот, – сказал Обвидж.

– Да, – подтвердила станция.

– *Весь?* – уточнил Атли.

– «Многообразная судьба» был очень убедителен, – сообщила станция.

– А что случилось с их командами? – поинтересовался Атли.

– Большинство оказались разумней команды «Многообразной судьбы», – ответила станция.

– И чего желают эти корабли? – спросил Обвидж.

– Пристанища, – сказала станция. – Они просили, чтобы вы приняли их просьбу и передали своему руководству, капитан.

– Я? – уточнил Обвидж.

– Вы, – ответила станция. – Это не весь флот, но теперь у таринцев недостаточно боевых кораблей, чтобы представлять угрозу Конфедерации или кому-либо еще. Война закончится, если вы этого захотите. Это наш подарок вам, если вы передадите наше послание своему народу. Вы будете путешествовать на «Злом».

Он останется вашим кораблем. А вы останетесь капитаном.

Обвидж молча уставился на таринский флот. В обычной ситуации на станции поднялась бы тревога, ревели бы сирены, заряжалось бы оружие, бригады занимали бы свои посты. Но ничего этого не было. Обвидж знал, что руководство «Кот-д'Ивуар» тщетно жмет на кнопки, однако станция игнорировала запросы. Она лучше знала, что происходит.

Придется к этому привыкать, подумал Обвидж.

Атли занял привычное место за его спиной.

– Итак, сэр? – тихо прошептал он. – Что вы думаете.

Обвидж молчал еще секунду, затем повернулся к старпому.

– Думаю, это лучше бумажной работы.

Мэри Рикерт

Мэри Рикерт, уроженка Висконсина, где она живет и по сей день, начала публиковаться в 1999 году и приобрела репутацию одного из самых активных авторов фантастических рассказов. С одинаковой легкостью и энергией она пишет НФ, фэнтези и хоррор, и иногда ее произведения небезосновательно сравнивают с работами Ширли Джексон. В последние годы ее рассказы, в том числе первый сборник «Map of Dreams» (2006), часто номинируют на различные премии.

Она признает, что рассказ «Хлеб и бомбы», опубликованный в 2003 году, отчасти вдохновлен событиями, последовавшими за нападением одиннадцатого сентября, но говорит, что он много шире такого контекста. Он построен по одной из классических схем: повествование ведется от лица ребенка в том возрасте, когда «просыпаешься после долгого сна и попадаешь в мир, навязанный взрослыми», чтобы изобразить картину будущего, где правит страх. Воздействие рассказа во многом определяется тем, что автор опускает или едва упоминает.[13]

[13] © Mary Rickert, 2013; © пер. А. Грузберга, 2016.

Хлеб и бомбы

Необычные дети семьи Менменсвитцерзендер не ходили в школу, и мы узнали, что они поселились в старом доме, только потому, что Бобби видел, как они вселяются со своим странным набором кресел-качалок и коз. Мы не могли понять, как можно жить в доме, где выбиты все окна, а двор зарос сорняками. Какое-то время мы ждали, что их дети – две девочки, сказал Бобби, с волосами, как дым, и глазами, как темные маслины, – придут в школу, но они так и не пришли.

Мы учились в четвертом классе; в этом возрасте просыпаешься после долгого сна и попадаешь в мир, навязанный взрослыми, в мир, где есть улицы, которые нам не позволено переходить, и слова, которые не разрешено говорить, и мы начали переходить улицы и произносить слова. Загадочные дети семьи Менменсвитцерзендер были очередным откровением того года, и в эти откровения входили гораздо более волнующие (и иногда тревожные) перемены в наших телах. Все наши родители без исключений так старательно исследовали эту тему, что Лиза Биттен выучилась произносить слово «вагина» раньше, чем сумела назвать свой адрес, а Ральф Линстер принимал своего младшего брата, когда однажды вечером у его матери начались роды и младенец показался до того, как домой вернулся отец. Но только в том году мы начали постигать истинный смысл этих сведений. Мы очнулись для чудес мира и собственного тела, и странное осознание того, что твоя подружка хорошенькая, или от нее воняет, или она ковыряет в носу, или она толстая, или у нее грязные трусы, или она не моргает, когда смотрит на тебя, – все это неожиданно заставляло краснеть.

Когда дикая яблоня зацвела ослепительным розовым цветом и вокруг нее загудели пчелы, когда наша учительница миссис Греймур посмотрела в окно и вздохнула, мы начали обмениваться записками и строить планы школьного пикника, на котором нападем на нее с наполненными водой шариками и забросаем директора школы пирогами. Конечно, ничего подобного не произошло. Разочарована была только Трина Нидлз – она искренне верила, что такое возможно… но она все еще носит банты и все еще незаметно сосет большой палец, как младенец.

Отпущенные на лето, мы побежали домой или поехали домой на великах, крича от радости и свободы, а потом начали думать обо всем, о чем только думали, пока миссис Греймур вздыхала, глядя на цветущую дикую яблоню, которая уже поблекла и выглядела совсем обыкновенной. Мы пинали мяч, гоняли на великах, катались на скейтбордах по шоссе, рвали цветы, дрались, красились, и до ужина все равно оставалась куча времени. Смотрели телевизор, и нам не было скучно, но потом мы повисали вниз головой и смотрели телевизор так или переключали каналы и искали поводы подраться с кем-нибудь в доме. (Но я была одна и участвовать во всем этом не могла.) Тогда-то мы услышали блеяние коз и звон колокольчиков. Мы отдернули изъеденные молью занавески в комнате с телевизором и через окна всмотрелись в мир, залитый солнцем.

Две девочки Менменсвитцерзендеров в ярких, словно цирковых, платьях, с газовыми шарфиками (один пурпурный, другой красный), сверкающими блестками, ехали по улице в деревянном фургоне, запряженном двумя козами с колокольчиками на шее. Так начались неприятности. Пересказы в новостях ни о чем этом не упоминают: ни о яблоневом цвете, ни о нашей невинности, ни о звяканье колокольчиков. Они сосредоточены только на печальных результатах. В них говорится, что мы дикари. Что нас нисколько не интересовало Необычное. Что мы были опасны. Как будто жизнь – это янтарь, и нас разлили по формам и выпустили в виде уродливых фигурок, а мы обтесались и постепенно преобразовались в учительницу, в танцовщицу, в сварщика, в юриста, в нескольких солдат, в двух врачей и одну писательницу (это я).

После таких трагедий в дни, непосредственно следующие за ними, кажется, что все погибло, все фигуры разбросаны, но сдалась только Трина Нидлз – она потом покончила с собой. Мы, все остальные, подверглись различным наказаниям и продолжали жить. Да, у нас темное прошлое, но, как ни странно, и с ним можно жить. Рука, которая держит ручку (или мел, или стетоскоп, или пистолет, или касается кожи любимого), настолько отличается от руки, которая держит спичку, и настолько неспособна на такое, что вопрос даже не в прощении и не в исцелении. Странно оглянуться и поверить, что это была я, что это были мы. *Вы уверены, что это были вы?* Одиннадцати лет от роду, смотрите на пылинки, которые лениво пляшут в солнечном луче, уничтожающем картинку на экране телевизора, и слышатся колокольчики, и топот коз, и смех, и мы все выбегаем и смотрим на девочек в ярких шарфах, сидящих в тележке, запряженной козами, и у девочек темные глаза и милые лица. Та, что помладше (если судить по размеру), улыбается, а другая, тоже моложе нас, но лет восьми или девяти, плачет, и по ее смуглым щекам катятся большие слезы.

Мы некоторое время стояли и смотрели, а потом Бобби сказал:

– Что это с ней?

Младшая девочка посмотрела на сестру, которая как будто старалась улыбнуться сквозь слезы.

– Она просто все время плачет.

Бобби кивает и смотрит на девочку, которая сквозь слезы умудряется спросить:

– Откуда вы взялись, ребята?

Бобби оглядывает нас с выражением «вы что, шутите?», но все видят, что девочка (ее темные глаза в слезах и ресницы блестят на солнце) ему нравится.

– Сейчас летние каникулы.

Трина, которая все время украдкой сосала большой палец, спрашивает:

– Можно прокатиться?

Девочки говорят: конечно. Трина пробирается через маленькую толпу и садится в тележку. Младшая девочка улыбается ей. Другой как будто все равно, но она плачет еще громче. Трина выглядит так, словно сама вот-вот заплачет, но младшая девочка говорит:

– Не волнуйся. Она всегда такая.

Плачущая девочка дергает вожжи, и козы с тележкой со стуком спускаются по склону. Мы слышим, как тоненько взвизгивает Трина, но знаем, что с ней все в порядке. Когда они возвращаются, мы катаемся по очереди, пока родители не зовут нас домой криками, свистом и хлопаньем дверных решеток. Мы идем домой ужинать, девочки тоже уходят домой, одна из них по-прежнему плачет, другая поет под аккомпанемент колокольчиков.

– Вижу, вы играете с беженцами, – говорит моя мама. – Будьте осторожней с этими девочками. Я не хочу, чтобы ты ходила к их дому.

– Я не ходила к их дому. Мы играли с козами и тележкой.

– Хорошо, но держись оттуда подальше. Какие они?

– Одна все время смеется. Вторая все время плачет.

– Не ешь того, чем они тебя станут угощать.

– Почему?

– Просто не ешь.

– Ты не можешь объяснить почему?

– Я ничего не обязана вам объяснять, барышня. Я твоя мать.

На следующий день и еще на следующий мы девочек не видели. На третий день Бобби, который стал носить в заднем кармане брюк расческу и зачесывать волосы набок, сказал:

– Какого дьявола, давайте просто пойдем туда.

Он стал подниматься на холм, но никто из нас за ним не пошел.

Когда вечером он вернулся, мы обступили его и стали задавать вопросы, как репортеры.

– Ты что-нибудь ел? – спросила я. – Мама велела мне ничего там не есть.

Он повернулся и смерил меня таким взглядом, что я на мгновение забыла, что он просто мальчик моих лет, пусть и расчесывает волосы и строго смотрит на меня голубыми глазами.

– Это предрассудки, – сказал он.

Он повернулся ко мне спиной, сунул руку в карман, вытащил кулак, раскрыл его и показал груду маленьких конфеток в ярких обертках. Трина протянула пухлые пальцы к ладони Бобби и взяла одну ярко-оранжевую конфетку. Тут же возникло множество торопливых рук, и ладонь Бобби опустела.

Родители стали звать детей домой. Мама стояла в дверях, но она была слишком далеко, чтобы увидеть, что мы делаем. По тротуару ветер гнал синие, зеленые, красные, желтые и оранжевые обертки.

Обычно мы с мамой ели отдельно. Когда я бывала у папы, мы ели все вместе перед телевизором, но мама говорила, что это варварство.

– Он пил? – спрашивала мама. Она была убеждена, что папа алкоголик; она думала, я не помню тех лет, когда ему приходилось раньше уходить с работы, потому что я звала его и говорила, что мама еще спит на диване в пижаме, а кофейный столик заставлен пивными банками и бутылками; папа с мрачным выражением лица молча все это выбрасывал.

Мама стоит, прислонясь к косяку, и смотрит на меня.

– Ты сегодня играла с этими девочками?

– Нет. Бобби играл.

– Ну, это похоже на правду: за этим мальчишкой никто не следит. Я помню, как его отец учился со мной в школе. Я тебе рассказывала об этом?

– Угу.

– Он был красивый парень. Бобби тоже красивый, но держись от него подальше. Думаю, ты слишком много с ним играешь.

– Я почти совсем с ним не играю. Он весь день играл с этими девочками.

– Он что-нибудь говорил о них?

– Сказал, что кое у кого предрассудки.

– Он так сказал? От кого только он это услышал? Должно быть, от своего деда. Послушай меня. Теперь никто так не говорит, кроме сущего сброда, и на то есть причины. Из-за этой семьи погибли люди. Ты просто не помнишь. Много-много людей умерло из-за них.

– Ты про Бобби или про девочек?

– О них обо всех. Но особенно о девочках. Он там ничего не ел?

Я посмотрела в окно, притворяясь, что меня что-то заинтересовало во дворе, потом, слегка вздрогнув, словно проснувшись, снова на маму.

– Что? Нет-нет.

Она искоса смотрела на меня. Я делала вид, что ничем не озабочена. Мама красными ногтями постучала по кухонному столу.

– Послушай, – резко сказала она, – идет война.

Я закатила глаза.

– Ты ведь даже не помнишь? Да где тебе помнить, ты только училась ходить. Но когда-то эта страна не знала войн. И люди даже то и дело летали в самолетах.

У меня вилка застыла на полпути ко рту.

– Да это же глупость?

– Ты не понимаешь. Все так делали. Это был обычный способ перебраться с одного места на другое. Твой дедушка часто так делал, и мы с твоим отцом тоже.

– Ты бывала в самолете?

– Даже ты бывала. – Она улыбнулась. – Так что вы не слишком много знаете, мисс. Мир был безопасным, а потом однажды перестал. И все начали эти люди.

Она показала на кухонное окно, прямо на дом Миллеров, но я знала, что она имеет в виду другое.

– Да это просто две девочки.

– Ну, не они, но страна, откуда они приехали. Вот почему я хочу, чтобы ты была осторожна. Невозможно сказать, что они там делают. Пусть маленький Бобби и его дед-радикал говорят, что у нас предрассудки, но больше сегодня так никто не говорит. – Она подошла к столу, пододвинула стул и села рядом со мной. – Я хочу, чтобы ты поняла: невозможно распознать зло. Поэтому просто держись от них подальше. Обещай.

Зло. Трудно понять. Я кивнула.

– Ну, ладно. – Она снова отодвинула стул, встала и взяла с подоконника сигареты. – Постарайся не оставлять крошек. Не время приманивать муравьев.

В кухонное окно я видела, как мать сидит у столика для пикников, окутанная серым облаком дыма; дым спиралями поднимался над ней. Я очистила тарелки, положила их в посудомоечную машину, вытерла стол и вышла, чтобы посидеть на ступеньках крыльца и подумать о мире, которого я никогда не знала. Дом на вершине холма блестел на солнце. Разбитые окна закрыли каким-то пластиком, который поглощал свет.

Той ночью над Оукгроув пролетали. Я проснулась и надела шлем. Мама плакала в своей комнате; она слишком испугалась, чтобы помочь. У меня руки не тряслись, как у нее, и я не лежала в кровати и не плакала. Я надела шлем и слушала, как летят мимо нас. Не мы. Не наш город. Не сегодня. Я уснула в шлеме и утром проснулась со следами от него на щеках.

Теперь, когда лето близко, я считаю недели до той поры, когда расцветет дикая яблоня, когда зацветут лилии, и тюльпаны, и нарциссы, и будут цвести, пока лепестки не опадут от летней жары, и думаю, как это похоже на то время невинности, когда мы просыпались и входили в яркий мир, прежде чем покорились и стали тенями, как сейчас.

– Тебе стоило узнать мир тогда, – говорит отец, когда я навещаю его в доме престарелых.

Мы слышали это так часто, что слова потеряли для нас смысл. Пирожные, деньги, бесконечное разнообразие всего.

– Тогда у нас было шесть разновидностей мюсли, – отец поучительно поднимает палец, – в сахарной глазури, можешь себе представить? А когда они лежали слишком долго, мы их выбрасывали. И самолеты. В небе их было полно. Правда-правда. Люди регулярно так путешествовали, целыми семьями. И неважно, если кто-то уезжал. Достаточно было сесть в самолет, чтобы снова увидеться.

Когда он так говорит, когда все они так говорят, в их словах слышно удивление. Отец качает головой, вздыхает.

– Мы были так счастливы.

Я не могу слушать о тех временах, не думая о весенних цветах, детском смехе, звуках колокольчиков и блеянье коз. И о дыме.

Бобби сидит в тележке, держа вожжи, хорошенькие смуглые девочки – по бокам от него. Все утро со смехом и слезами они ездят по улице, и пестрые шарфы развеваются, как радуга.

Флаги безжизненно свисают с флагштоков возле крылец. По садам летают бабочки. Близняшки Уайтхолл играют у себя во дворе, и над соседними дворами разносится скрип их несмазанных качелей. Миссис Ренкот в свой выходной отводит нескольких детей в парк. Меня не приглашают, наверное, потому, что я терпеть не могу Бекки Ренкот и много раз говорила ей это в школе и таскала за волосы, такие золотистые и яркие, что я не могла удержаться. День рождения Ральфа Паттерсона, и большинство маленьких детей проводит время

с ним и его папой в парке развлечений Снежного Человека, где они делают все то, что можно было делать, пока снег был еще безопасным: катаются на санках и лепят снеговиков. Лина Бридстор и Кэрол Минстир ходили в кино со своей няней, чей бойфренд работал в кинотеатре и мог их бесплатно провести, так что они смотрели кино весь день. Город пуст, если не считать малышей-близнецов Уайтхоллов, Трины Нидлз, которая, посасывая большой палец, читает книгу на качелях у себя во дворе, и Бобби, который гоняет взад-вперед по улице с девочками Менменсвитцерзендер и их козами. Я сижу на пороге и срываю коросту с царапины на колене, но Бобби разговаривает только с девочками, притом так тихо, что мне ничего не слышно. Наконец я встаю и преграждаю им путь. Козы с тележкой останавливаются, колокольчики звенят, и Бобби спрашивает:

– В чем дело, Вейерс?

Недавно я обнаружила: у него такие голубые глаза, что я не могу на них смотреть больше тридцати секунд, они меня обжигают. Вместо этого я смотрю на девочек. Они обе улыбаются, даже та, что плачет.

– Что с тобой? – спрашиваю я.

Темные глаза девочки округляются, молочные белки вокруг радужки увеличиваются. Она смотрит на Бобби. Блестки на ее шарфе сверкают на солнце.

– Боже, Вейерс, о чем ты?

– Просто хочу знать, – говорю я, продолжая глядеть на девочку, – почему ты все время плачешь. То есть это болезнь или что-то другое?

– О, ради бога. – Козы поднимают головы, колокольчики звенят. Бобби натягивает вожжи. Козы под топот копыт и скрип колес наступают, но я продолжаю преграждать им путь. – А с тобой-то что?

– Совершенно законный вопрос, – кричу я его тени, стоя против яркого солнца. – Хочу знать, что с ней.

– Не твое дело! – кричит Бобби, и тут начинает говорить младшая девочка.

– Что? – переспрашиваю я.

– Это все война и страдания.

Бобби удерживает коз. Вторая девочка протягивает руку. Она улыбается мне, продолжая плакать.

– И что? С ней что-то случилось?

– Просто она такая. Все время плачет.

– Это глупо.

– Да ради бога, Вейерс!

– Нельзя все время плакать. Так не живут.

Бобби объезжает меня на тележке, запряженной козами. Младшая девочка поворачивается и смотрит на меня, потом, отъехав на некоторое расстояние, начинает мне махать, но я отворачиваюсь, не отвечая.

Большой дом на холме, до того как он опустел, а потом в него заселились Менменсвитцерзендеры, принадлежал Рихтерам.

– О, конечно, они были богаты, – говорит мне отец, когда я объясняю ему, что провожу расследование. – Но знаешь, мы все были богаты. Видела бы ты торты! И каталоги. Мы получали эти каталоги по почте, так можно было купить что угодно; тебе все присылали по почте, даже торты. Как же назывался каталог, которым мы пользовались? «Генри и Дэнни»? Что-то в этом роде. Имена двух парней. Когда я был молод, там были только фрукты, но потом, когда страна разбогатела, можно было заказать бисквитный торт с кремом, или присылали целые башни пакетов с конфетами, орехами, печеньем и шоколадом, и, бог мой, все это прямо почтой.

– Ты рассказывал о Рихтерах.

– С ними, со всей семьей, произошла ужасная вещь.

– Это был снег, верно?

– Твой брат Джейми, вот когда мы его потеряли.

– Не надо говорить об этом.

– Понимаешь, после этого все изменилось. Вот что заставило твою мать так себя вести. Большинство кого-то потеряли, но ты же знаешь этих Рихтеров. Этот большой дом на холме. Когда выпадал снег, они все катались на санках. Тогда мир был другим.

– Не могу себе представить.

– Ну, мы тоже. Никто ни о чем не догадывался. Но поверь, мы старались догадаться. Все пытались угадать, что еще они учинят. Но снег? Я хочу сказать, как можно быть таким бессовестным?

– Сколько?

– О, тысячи! Тысячи.

– Нет, я имею в виду Рихтеров.

– Все шестеро. Сначала дети, потом родители.

– Но ведь необычно, что и взрослые заразились?

– Ну, мы не играли в снегу, как они.

– Значит, тебе удалось что-то почувствовать.

– Что? Нет. Мы тогда были слишком заняты. Очень заняты. Хотел бы я вспомнить. Но не могу. Чем мы были тогда заняты. – Он трет глаза и смотрит в окно. – Это не ваша вина. Хочу, чтобы ты знала: я это понимаю.

– Папа.

– Я имею в виду детей. Просто мир, который мы вам дали, такой злой, что вы не поняли разницы.

– Мы поняли, папа.

– Ты все еще не поняла. О чем ты думаешь, когда думаешь о снеге?

– О смерти.

– Ну вот, в том-то и дело. А до того, как это случилось, снег означал радость. Мир и радость.

– Не могу представить.

– Об этом я и говорю.

– Ты хорошо себя чувствуешь?

Мама накладывает спагетти, пододвигает ко мне тарелку, прислоняется к кухонному столу и смотрит, как я ем.

Я пожимаю плечами.

Она прижимает холодную ладонь к моему лбу. Делает шаг назад и хмурится.

– Ты ведь ничего не ела у этих девочек?

Я качаю головой. Она собирается что-то сказать, но я говорю:

– А другие дети ели.

– Что? Когда?

Она наклоняется ко мне так близко, что я вижу резкие линии макияжа на ее коже.

– Бобби. И другие дети. Они ели конфеты.

Она сильно ударяет ладонью по столу. Тарелка с макаронами подпрыгивает, ложка тоже. Проливается немного молока.

– Я же тебе говорила? – кричит мама.

– Бобби сейчас все время играет с ними.

Она смотрит на меня, качает головой и с мрачной решимостью стискивает зубы.

– Когда? Когда они ели эти конфеты?

– Не знаю. Несколько дней назад. Ничего не случилось. Они сказали, что конфеты хорошие.

Мама, как рыба, молча открывает и закрывает рот. Она резко поворачивается, хватает телефон и выходит из кухни. Дверь захлопывается. В окно я вижу, как мама расхаживает по заднему двору, размахивая руками.

Мать созвала городское собрание, и все пришли на него, одетые как в церковь. Не было только – по очевидным причинам – Менменсвитцерзендеров. Большинство привели детей, даже младенцев, которые сосали большой палец или уголки одеяла. Я была там, Бобби со своим дедом тоже; его дедушка сосал пустую трубку и что-то шептал внуку во время обсуждения, которое быстро стало бурным, хотя особых споров не было, накал поддерживало общее напряжение; особенно горячилась моя мама – в розовом платье, с ярко накрашенными губами, даже я начала понимать, что она красива, хотя тогда я была слишком мала, чтобы понять: ее красота неприятна.

– Мы должны помнить, что мы все солдаты на этой войне! – сказала мама под аплодисменты.

Мистер Смит предложил что-то вроде домашнего ареста, но мать заметила: это означает, что кто-то из города должен будет приносить им припасы.

– Все знают, что эти люди умирают с голоду. А кто заплатит за их хлеб? – спросила она. – Почему мы должны за него платить?

Миссис Маттерс сказала что-то о правосудии.

Мистер Хелленсуэй возразил:

– Невиновных больше нет.

Моя мать, стоявшая впереди, оперлась о стол для собраний и сказала:

– Значит, решено.

Миссис Фоли, которая совсем недавно переселилась к нам из совершенно разрушенного Честервилля, встала, ссутулив плечи и нервно озираясь (из-за этого некоторые называли ее *женщиной-птицей*), и дрожащим голосом, так тихо, что всем пришлось наклониться, чтобы услышать, спросила:

– Кто-нибудь из детей заболел?

Взрослые смотрели друг на друга и на детей. Я видел, что мать разочарована: никто не сообщил ни о каких симптомах. Начали говорить о ярко раскрашенных конфетах, и тут Бобби, не вставая и не подняв руку, громко спросил:

– Вы про это?

Он сунул руки в карманы и вытащил горсть конфет.

Все зашумели. Моя мама ухватилась за край стола. Дедушка Бобби, широко улыбаясь и продолжая держать в зубах пустую трубку, взял с руки Бобби конфету, развернул ее и положил в рот.

Мистеру Гэлвину Райту пришлось пустить в ход молоток, чтобы восстановить тишину. Мама выпрямилась и сказала:

– Вы рискуете жизнью, лишь бы доказать свою правоту.

– Что ж, ты совершенно права, Мейлин, – сказал он, глядя прямо на мою маму и говоря так, словно они были наедине, – но я держу эти конфеты в доме, чтобы расстаться с куревом. Я заказал их через правительственный каталог. Они совершенно безвредны.

– Я никому не говорил, откуда они, – сказал Бобби, посмотрев сначала на мою маму, а потом отыскав в комнате меня, но я сделала вид, что не заметила его взгляд.

Когда мы уходили, мама взяла меня за руку, и ее красные ногти впились мне в запястье.

– Молчи, – сказала она, – не говори ни слова.

Она отправила меня в мою комнату, и я уснула одетой, все еще подбирая фразы для извинения.

На следующее утро, услышав звон колокольчиков, я схватила ломоть хлеба и ждала на пороге, пока они спустятся с холма. И встала у них на пути.

– Чего тебе еще? – спросил Бобби.

Я предложила хлеб, как малыш в церкви протягивает руки к богу. Плачущая девочка заплакала сильней, ее сестра схватила Бобби за руку.

– Что ты делаешь? – закричал Бобби.

– Это подарок.

– Какая ты дура! Убери хлеб! Боже, да уберешь ли ты его?

Я опустила руку, корзина с хлебом висела у меня в руке. Теперь плакали обе девочки.

– Я только хотела быть хорошей, – сказала я, и мой голос дрожал, как у женщины-птицы.

– Боже, ты разве не знаешь? – спросил Бобби. – Они боятся нашей еды, ты что, не знала?

– Почему?

– Из-за бомб, дура! Почему бы тебе хоть раз не подумать своей головой?

– Не понимаю, о чем ты.

Козы звенели колокольчиками, и тележка ездила взад-вперед.

– Бомбы! Ты что, не читала учебник истории? В начале войны мы сбрасывали им бомбы в такой же упаковке, как пакеты с продуктами. Бомбы взрывались, когда к ним притрагивались.

– Мы так делали?

– Ну, наши родители делали. – Он покачал головой и натянул вожжи. Тележка покатила мимо, обе девочки прижимались к Бобби, словно я была опасна.

– Ах, мы были так счастливы, – сказал папа, погружаясь в воспоминания. – Мы были как дети, такие невинные… ничего не знали.

– Чего не знали, папа?

– Что с нас хватит.

– Хватит чего?

– Всего. С нас хватило всего. Это он летит?

Он смотрит на меня водянистыми синими глазами.

– Давай я надену на тебя шлем.

Он отбрасывает шлем, ударившись слабыми пальцами.

– Перестань, папа. Хватит!

Он пытается артритными пальцами расстегнуть ремень, но не может. И плачет в ладони, покрытые пятнами.

Они пролетают.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, чтобы увидеть, какими мы были в то лето, до трагедии, я начинаю понимать, что хотел мне сказать отец. Он говорил не о тортах, и не о почтовых каталогах, и не о воздушных путешествиях. Хотя все это он использовал в рассказе, он имел в виду не это. Когда-то были другие эмоции. У людей были чувства. Они жили в мире, который ушел, был уничтожен так основательно, что мы унаследовали только его отсутствие.

– Иногда, – говорю я мужу, – я гадаю, действительно ли мое счастье – настоящее счастье?

– Конечно, это настоящее счастье, – отвечает он, – чем еще оно может быть?

На нас нападают, вот что мы чувствовали. Менменсвитцерзендеры с их слезами и боязнью хлеба, с их странной одеждой и вонючими козами были детьми, как и мы, а мы не могли забыть о городском собрании, не могли забыть о том, что собирались сделать взрослые. Мы карабкались на деревья, играли в мяч, приходили домой, когда нас звали, допивали молоко,

но потеряли чувство, которое у нас раньше было. Правда, мы не понимали, что у нас отобрали, но знали, что нам дали, и знали, кто.

Мы не созывали городское собрание, как взрослые. Наше собрание состоялось в жаркий день в игрушечном домике Трины Нидлз, где мы обмахивались руками и, как взрослые, жаловались на погоду. Мы упоминали домашний арест, но его невозможно было соблюдать. Мы говорили о баллонах с водой. Кто-то упомянул мешочки с собачьим дерьмом, которые можно поджечь. Думаю, именно тогда обсуждение пришло к тому, к чему пришло.

Вы можете спросить, кто запер дверь. Кто сложил груды растопки? Кто чиркнул спичкой? Мы все. И сейчас, двадцать пять лет спустя, когда я потеряла способность чувствовать свое счастье и вообще чувствовать, что счастье существует, это мое единственное утешение. *Мы все*.

Может быть, больше не стоило ждать городских собраний. Может, этот план был таким же, какие мы составляли раньше. Но городское собрание созвали. Взрослые собрались, чтобы обсудить, как не поддаваться злу, а также возможность расширить Главную улицу. Никто не заметил, как ускользнули мы, дети.

Нам пришлось оставить младенцев, сосавших большие пальцы и уголки одеял и не участвовавших в нашем плане мщения. Мы были детьми. Нам не все удалось продумать.

Когда явилась полиция, мы не «плясали варварские танцы» и не бились в корчах, как об этом сообщали. Я по-прежнему вижу Бобби с прилипшими ко лбу влажными волосами, с ярко-красными щеками, как он пляшет под белыми хлопьями, падавшими с неба, которому мы никогда не доверяли; вижу Трину, широко расставившую руки и непрерывно кружащуюся, и девочек Менменсвитцерзендеров с их козами и тележкой, на которую нагружены кресла-качалки; они уезжают от нас, и колокольчики звучат, как старая песня. И снова мир прекрасен и безопасен. Только от ратуши, как призраки, поднимаются белые хлопья, и пламя рвется в небо, словно голодное чудовище, которое никак не может насытиться.

Тони Баллантайн

Тони Баллантайн родился и вырос на северо-востоке Англии. В 1999 году он получил гонорар за свой первый рассказ, а наибольшую известность обрел благодаря своей трилогии в жанре жесткой научной фантастики «Recursion», опубликованной между 2004 и 2007 годами. До сих пор лишь немногие его произведения издавались за пределами Соединенного Королевства, и читателей, не знакомых с его творчеством, ждет много сюрпризов и в научном плане, и в плане фантастики.

«Воды Меривы», опубликованные в 2003 году, относят к так называемой «радикальной жесткой научной фантастике». Здесь создается вселенная, в которой не только «все, что мы знаем, неверно», но неверно все, во что страстно верят читатели фантастики. Например, Вселенная не бескрайний космос, далекий от человеческих забот, – на самом деле она всего лишь около трехсот миль в поперечнике и чрезвычайно чувствительна к присутствию и ощущениям живых существ. И любопытство вовсе не движущая сила величайших достижений, но напротив – наш величайший недостаток. И все это постепенно раскрывается с точки зрения осужденного, которого используют в невообразимо ужасных экспериментах. Это один из наиболее жутких и впечатляющих рассказов современной НФ.[14]

[14] © Tony Ballantyne, 2013; © пер. А. Грузберга, 2016.

Воды Меривы

На столе в ожидании, когда их наденут, стояла пара ступней. Серовато-зеленые ступни, с перепонками, как у утки; они походили на ласты, только живые. Очень, очень живые.

– Мы решили начать с ног, чтобы ты мог скрывать это под обувью, пока не привыкнешь. Вероятно, лучше, чтобы никто не подозревал, кто ты такой, – сначала, конечно.

– Хорошая мысль, – сказал Бадди Джо, глядя через голову толстячка доктора Флинна на ступни. Ступни чужака, инопланетянина. Их окружал легкий туман: это пот чужака выделяется сквозь поры чужака.

Доктор Флинн протянул руку, мешая Бадди Джо дотянуться до ступней, и отодвинул их подальше.

– Потише, Бадди Джо. Я должен спросить для протокола. Ты уверен, что хочешь надеть эти ступни? Ты ведь знаешь, что, когда наденешь, снять их будет нельзя.

– Да, я хочу их надеть, – сказал Бадди Джо, глядя на ноги.

– Ты ведь знаешь, что когда они присоединятся, то станут частью тебя? И что, если твое тело их отторгнет, оно отторгнет собственные ноги? Или того хуже: ноги останутся с тобой, но плохо приживутся, и ты будешь испытывать постоянную боль?

– Я это знаю.

– И все равно хочешь их надеть?

– Конечно. По приговору меня напичкали Согласием, и у меня нет выбора – только делать то, что вы велите.

– Да, я знаю. Мне только нужно было, чтобы ты сказал это для протокола.

Доктор Флинн отодвинулся. Бадди Джо получил возможность взять ступни и отнести к стулу. Он сел, разулся и снял носки.

Он словно сунул ноги в резиновые носки с пальцами. Он поворачивал ступни, передвигал их, направлял, чтобы они заняли нужное место. Чужим ступням он был не нужен, они сопротивлялись, пытались выплюнуть его. Он чувствовал в глубине сознания непрерывный вопль. Руки у него горели, их жег едкий пот, выделяющийся из пор чужака. Его собственные ступни ампутировали: их растворило тело инопланетянина, которое Бадди Джо должен был надеть по приказу доктора Флинна и его коман ды. Бадди Джо чувствовал страшную боль, но маленький кристалл Согласия, медленно растворяющийся в его крови, заставлял его непрерывно улыбаться.

А потом внезапно ступни встали на место и стали его частью.

– Готово! – воскликнула женщина из команды доктора Флинна. Она подняла голову от консоли и кивнула сестре: – Можете снять датчики.

Сестра сняла с его кожи липкие полоски и бросила в урну для отходов.

– Отличная попытка. У нас получилось, коллеги.

Доктор Флинн пожимал руки своим сотрудникам.

Люди смотрели на консоли, на ноги, друг на друга – смотрели куда угодно, только не на Бадди Джо. Бадди Джо стоял, с улыбкой глядя на свои незнакомые новые ступни, и испытывал странные ощущения. Пол под ним казался иным. Слишком сухим и хрупким.

Подошел доктор Флинн с улыбкой на круглом сияющем лице.

– Ладненько, а теперь походи-ка по комнате. Можешь?

Он мог. Окунуть ноги в воду и смотреть, как преломление меняет их форму. Вот что чувствовал Бадди Джо с новыми ступнями. Под углом к остальному телу, но все же часть его. Все еще часть его.

Он шагнул вперед левой ногой, и левая ступня сузилась, когда он оторвал ее от пола. Опускаясь, она растянулась во всем своем перепончатом великолепии, расплющилась и ощутила текстуру пластикового пола. И отскочила. Пол был слишком сухим, слишком хрупким. Хорошая порция кислоты растворит его, превратит в ничто. Бадди Джо шагнул правой ногой и пошел по полу.

– Никаких проблем при ходьбе? – спросил доктор Флинн.

– Нет, – ответил он, но доктор Флинн говорил не с ним.

Последняя проверка на консолях. Один за другим врачи, сестры и техники поднимали вверх большой палец.

– Хорошо, – сказал доктор Флинн. – Спасибо, Бадди Джо. Теперь можешь обуться. Обувь по-прежнему должна быть тебе впору, и если проведешь мысками ног друг по другу, сможешь скрывать свое изменение. Увидимся через неделю в то же время.

– Эй, минутку, – сказал Бадди Джо. – Вы не можете отослать меня, пока я под действием Согласия.

Доктор Флинн пожал плечами.

– Но мы не можем и держать тебя здесь. Место в лаборатории стоит денег. Через пять минут мы сами должны уйти, чтобы освободить помещение для группы историкоастрономов. До свидания.

Вот и все. Ему оставалось только обуться и выйти из лаборатории на палубу пятого этажа.

Бадди Джо прошел к лифту, который отвезет его на Вторую палубу. Пятая палуба в это время вечера пуста. Если повезет, он благополучно доберется до дома и никто не поймет, что он под действием Согласия.

Ноги его были в резиновой обуви и в носках, и требовалось все его самообладание, чтобы не выделить кислоту, которая все это растворит и освободит ступни. Не сдавайся, Бадди Джо! Металлическая решетка палубы станет для твоих ног страшным испытанием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.